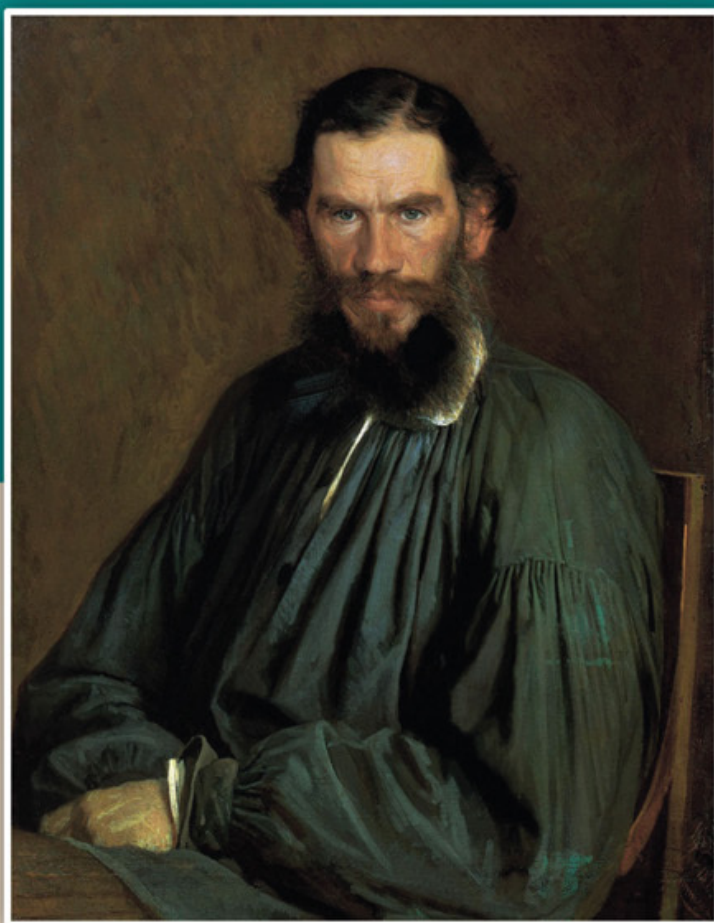


ХАДЖИ-МУРАТ ИЗБРАННОЕ



РУССКАЯ КУЛЬТУРА

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Лев Толстой

Хаджи-Мурат. Избранное

ТД "Белый город"
1853–1896

УДК 821.161.1
ББК 84Р1-44

Толстой Л. Н.

Хаджи-Мурат. Избранное / Л. Н. Толстой — ТД "Белый город",
1853–1896

ISBN 978-5-00119-037-0

Произведения Л.Н. Толстого по праву считаются шедеврами не только русской, но и мировой литературы. В настоящее издание вошли повесть «Хаджи-Мурат», цикл «Севастопольские рассказы», «Кавказский пленник» и некоторые другие рассказы великого классика, посвященные впечатлениям Крымской и Кавказской войн. Сборник дополнен приложениями, включающими краткую творческую историю входящих в него произведений, объяснения восточных и народных выражений и специальных терминов, встречающихся в текстах, а также статьи известных литературных критиков начала XX века Ю.И. Айхенвальда и Е.А. Соловьева. Книга предназначена для самого широкого круга читателей, интересующихся русской классической литературой, отечественной историей и культурой.

УДК 821.161.1

ББК 84Р1-44

ISBN 978-5-00119-037-0

© Толстой Л. Н., 1853–1896
© ТД "Белый город", 1853–1896

Содержание

Набег	7
Глава I	8
Глава II	14
Глава III	16
Глава IV	18
Глава V	19
Глава VI	22
Глава VII	24
Глава VIII	26
Глава IX	29
Глава X	31
Глава XI	33
Глава XII	34
Рубка леса	35
Глава I	36
Глава II	39
Глава III	41
Глава IV	43
Глава V	45
Глава VI	47
Глава VII	51
Глава VIII	53
Глава IX	54
Глава X	55
Глава XI	57
Глава XII	60
Глава XIII	62
Севастопольские рассказы	65
Севастополь в декабре 1854 года	65
Севастополь в мае 1855 года	75
Глава I	75
Глава II	75
Глава III	78
Глава IV	80
Глава V	81
Глава VI	84
Глава VII	84
Глава VIII	85
Глава IX	86
Глава X	90
Глава XI	91
Глава XII	92
Глава XIII	94
Глава XIV	96
Глава XV	97
Глава XVI	98

Севастополь в августе 1855 года	101
Глава I	101
Глава II	102
Глава III	103
Конец ознакомительного фрагмента.	105

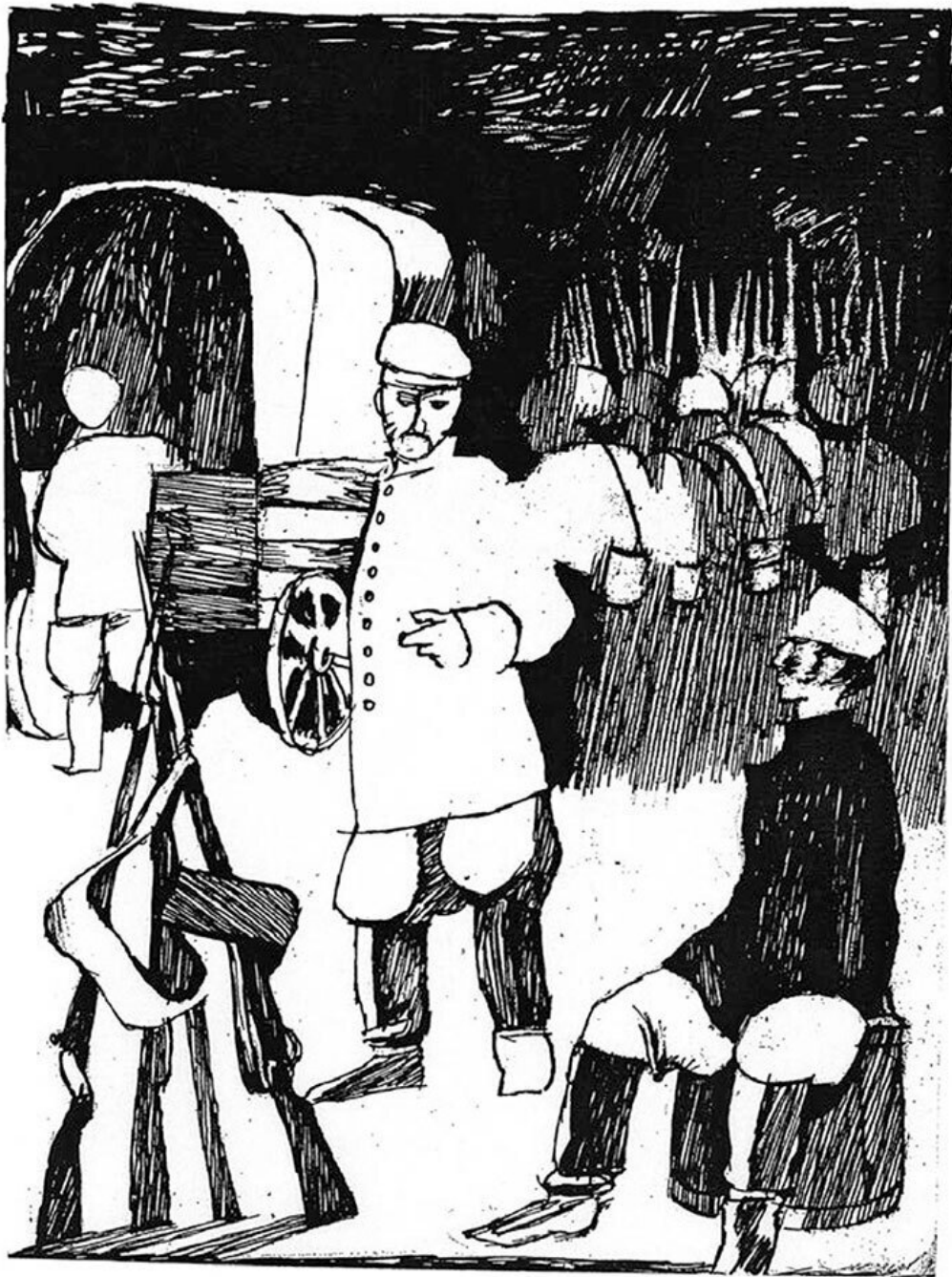
Лев Толстой
Хаджи-Мурат. Избранное

© ООО ТД «Белый город», 2019

Набег

Рассказ волонтера

Глава I



Война всегда интересовала меня. Но война не в смысле комбинаций великих полководцев, – воображение мое отказывалось следить за такими громадными действиями: я не понимал их, а интересовал меня самый факт войны – убийство. Мне интереснее знать, каким обра-

зом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого, чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве.

Для меня давно прошло то время, когда я один расхаживал по комнате и, размахивая руками, воображал себя героем, сразу убивающим бесчисленное множество людей и получающий за это чин генерала и бессмертную славу. Меня занимал только вопрос: под влиянием какого чувства решается человек без видимой пользы подвергать себя опасности и, что еще удивительнее, убивать себе подобных? Мне всегда хотелось думать, что это делается под влиянием чувства злости; но нельзя предположить, чтобы все воюющие беспрестанно злились, и я должен был допустить чувство самосохранения и долга.

Что такое храбрость, это качество, уважаемое во всех веках и во всех народах? Почему это хорошее качество, в противоположность всем другим, встречается иногда у людей порочных? Неужели храбрость есть только физическая способность хладнокровно переносить опасность и уважается как большой рост и сильное сложение? Можно ли назвать храбрым коня, который, боясь плети, отважно бросается под кручу, где он разобьется; ребенка, который, боясь наказания, смело бежит в лес, где он заблудится; женщину, которая, боясь стыда, убивает свое детище и подвергается уголовному наказанию; человека, который из тщеславия решается убивать себе подобного и подвергается опасности быть убитым?

В каждой опасности есть выбор. Выбор, сделанный под влиянием благородного или низкого чувства, не есть ли то, что должно называться храбростью или трусостью? Вот вопросы и сомнения, занимавшие меня и для решения которых я намерен был воспользоваться первым представившимся случаем побывать в деле.

Летом 184... года я жил на Кавказе в маленькой крепости N.

Двенадцатого июля капитан Хлопов, в эполетах и шашке, – форма, в которой со времени моего приезда на Кавказ я еще не видал его, – вошел в низкую дверь моей землянки.

– Я прямо от полковника, – сказал он, отвечая на вопросительный взгляд, которым я его встретил. – Завтра батальон наш выступает.

– Куда? – спросил я.

– В NN. Там назначен сбор войскам.

– Оттуда, верно, будет какое-нибудь движение? – Должно быть.

– Куда же? Как вы думаете?

– Что думать! Я вам говорю, что знаю. Прискакал вчера ночью татарин от генерала, привез приказ, чтобы батальону выступать и взять с собою на два дня сухарей; а куда, зачем, надолго ли, этого, батюшка, не спрашивают: велено идти – и довольно.

– Однако если сухарей берут только на два дня, стало, и войска продержат не долее.

– Ну, это еще ничего не значит...

– Да как же так? – спросил я с удивлением.

– Да так же! В Дарги ходили, на неделю сухарей взяли, а пробыли чуть не месяц!

– А мне можно будет с вами идти? – спросил я, помолчав немного.

– Можно-то можно, да мой совет лучше не ходить. Из чего вам рисковать?..

– Нет, уж позвольте мне не послушаться вашего совета: я целый месяц жил здесь только затем, чтобы дожидаться случая видеть дело, и вы хотите, чтобы я пропустил его.

– Пожалуй, идите; только, право, не лучше ли бы вам остаться? Вы бы тут нас подождали, охотились бы; а мы бы пошли с Богом. И славно бы! – сказал он таким убедительным тоном, что мне в первую минуту действительно показалось, что это было бы славно; однако я решительно сказал, что ни за что не останусь.

– И чего вы не видали там? – продолжал убеждать меня капитан. – Хочется вам узнать, какие сражения бывают? Прочтите Михайловского-Данилевского «Описание войны» – прекрасная книга: там все подробно описано – и где какой корпус стоял, и как сражения происходят.

– Напротив, это-то меня и не занимает, – отвечал я.

– Ну, так что же? Вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают?.. Вот, в тридцать втором году был тут тоже неслужащий какой-то, из испанцев, кажется. Два похода с нами ходил, в синем плаще в каком-то... так и ухлопали молодца. Здесь, батюшка, никого не удивишь.

Как мне ни совестно было, что капитан так дурно объяснял мое намерение, я и не покушался разуверять его.

– Что, он храбрый был? – спросил я его.

– А бог его знает: все, бывало, впереди ездит; где перестрелка, там и он.

– Так, стало быть, храбрый, – сказал я.

– Нет, это не значит храбрый, что суется туда, где его не спрашивают...

– Что же вы называете храбрым?

– Храбрый? Храбрый? – повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос. – *Храбрый тот, который ведет себя как следует*, – сказал он, подумав немного.

Я вспомнил, что Платон определяет храбрость *знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться*, и, несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определения греческого философа, потому что, если бы он мог выражаться так же, как Платон, он, верно, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, *чего следует бояться*, а не того, *чего не нужно бояться*.

Мне хотелось объяснить свою мысль капитану.

– Да, – сказал я, – мне кажется, что в каждой опасности есть выбор, и выбор, сделанный под влиянием, например, чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделанный под влиянием низкого чувства, – трусость; поэтому человека, который из тщеславия, или из любопытства, или из алчности рискует жизнью, нельзя назвать храбрым, и, наоборот, человека, который под влиянием честного чувства семейной обязанности или просто убеждения откажется от опасности, нельзя назвать трусом.

Капитан с каким-то странным выражением смотрел на меня в то время, как я говорил.

– Ну, уж этого не умею вам доказать, – сказал он, накладывая трубку, – а вот у нас есть юнкер, так тот любит пофилософствовать. Вы с ним поговорите. Он и стихи пишет.

Я только на Кавказе познакомился с капитаном, но еще в России знал его. Мать его, Марья Ивановна Хлопова, мелкопоместная помещица, живет в двух верстах от моего имения. Перед отъездом моим на Кавказ я был у нее: старушка очень обрадовалась, что я увижу ее Пашеньку (как она называла старого, седого капитана) и – живая грамота – могу рассказать ему про ее житье-бытье и передать посылочку. Накормив меня славным пирогом и полотками, Марья Ивановна вышла в свою спальню и возвратилась оттуда с черной, довольно большой ладанкой, к которой была пришита такая же шелковая ленточка.

– Вот это Неопалимой купины наша Матушка-Заступница, – сказала она, с крестом поцеловав изображение Божьей Матери и передавая мне в руки, – потрудитесь, батюшка, доставьте ему. Видите ли: как он поехал на *Кавказ*, я отслужила молебен и дала обещание, коли он будет жив и невредим, заказать этот образ Божьей Матери. Вот уж восемнадцать лет, как Заступница и угодники святые милуют его: ни разу ранен не был, а уж в каких, кажется, *стражениях* не был!.. Как мне Михайло, что с ним был, порассказал, так, верите ли, волос дыбом становится. Ведь я что и знаю про него, так только от чужих: он мне, мой голубчик, ничего про свои походы не пишет – меня напугать боится.

(Уже на Кавказе я узнал, и то не от капитана, что он был четыре раза тяжело ранен и, само собою разумеется, как о ранах, так и о походах ничего не писал своей матери.)

– Так пусть теперь он это святое изображение на себе носит, – продолжала она, – я его им благословляю. Заступница Пресвятая защитит его! Особенно в *стражениях*, чтоб он всегда его на себе имел. Так и скажи, мой батюшка, что мать твоя так тебе велела.

Я обещался в точности исполнить поручение.

– Я знаю, вы его полюбите, моего Пашеньку, – продолжала старушка, – он такой славный! Верите ли, году не проходит, чтобы он мне денег не присылал, и Аннушке, моей дочери, тоже много помогает; а все из одного жалованья! Истинно век благодарю Бога, – заключила она со слезами на глазах – что дал Он мне такое дитя.

– Часто он вам пишет? – спросил я.

– Редко, батюшка: нешто в год раз, и то когда с деньгами, так словечко напишет, а то нет. Ежели, говорит, маменька, я вам не пишу, значит жив и здоров, а коли что, избави бог, случится, так и без меня напишут.



Когда я отдал капитану подарок матери (это было на моей квартире), он попросил оберточной бумажки, тщательно завернул его и спрятал. Я много говорил ему о подробностях жизни его матери: капитан молчал. Когда я кончил, он отошел в угол и что-то очень долго накладывал трубку.

– Да, славная старуха! – сказал он оттуда несколько глухим голосом. – Приведет ли еще Бог свидеться.

В этих простых словах выразалось очень много любви и печали.

– Зачем вы здесь служите? – сказал я.

– Надо же служить, – отвечал он с убеждением.

– Вы бы перешли в Россию – там вы были бы ближе.

– В Россию? В Россию? – повторил капитан, недоверчиво качая головой и грустно улыбаясь. – Здесь я все еще на что-нибудь да гожусь, а там я последний офицер буду. Да и то сказать, двойное жалованье для нашего брата, бедного человека, тоже что-нибудь да значит.

– Неужели, Павел Иванович, по вашей жизни вам бы не доставало ординарного жалованья? – спросил я.

– А разве двойного достает? – подхватил горячо капитан. – Посмотрите-ка на наших офицеров: есть у кого грош медный? Все у маркитанта на книжку живут, все в долгу по уши. Вы говорите: по моей жизни... Что ж, по моей жизни, вы думаете, у меня остается что-нибудь от жалованья? Ни гроша! Вы не знаете еще здешних цен; здесь все втридорога!..

Капитан жил бережливо: в карты не играл, кутил редко и курил простой табак, который он, неизвестно почему, называл не тютюн, а *самброталический табак*. Капитан еще прежде нравился мне: у него была одна из тех простых, спокойных русских физиономий, которым приятно и легко смотреть прямо в глаза; но после этого разговора я почувствовал к нему истинное уважение.

Глава II

В четыре часа утра на другой день капитан заехал за мной. На нем были старый, истертый сюртук без эполет, лезгинские широкие штаны, белая папашка с опустившимся пожелтевшим курпеем¹, и незавидная азиатская шашчонка через плечо, самой жалкой наружности, – одна из тех шашек, которые можно видеть только у бедных офицеров и у переселенных хохлов, обзаводящихся оружием. Беленький маштачок², на котором он ехал, шел понуря голову, мелкой иноходью и беспрестанно взмахивал жиденьким хвостом. Несмотря на то, что в фигуре доброго капитана было не только мало воинственного, но и красивого, в ней выражалось так много равнодушия ко всему окружающему, что она внушала невольное уважение.

Я ни минуты не заставил его дожидаться, тотчас сел на лошадь, и мы вместе выехали за ворота крепости.

Батальон был уже сажен двести впереди нас и казался какою-то черной сплошной колеблющейся массой. Можно было догадаться, что это была пехота, только потому, что, как частые длинные иглы, виднелись штыки, изредка долетали до слуха звуки солдатской песни, барабана и прелестного тенора, подголоска шестой роты, которым я не раз восхищался еще в укреплении. Дорога шла серединой глубокой и широкой балки³, подле берега небольшой речки, которая в это время *играла*, то есть была в разливе. Стада диких голубей вились около нее: то садились на каменный берег, то, поворачиваясь на воздухе и делая быстрые круги, улетали из вида. Солнца еще не было видно, но верхушка правой стороны балки начинала освещаться. Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты держидерева, кизила и карагача обозначались с чрезвычайной ясностью и выпуклостью на прозрачном, золотистом свете восхода; зато другая сторона и лощина, покрытая густым туманом который волновался дымчатыми неровными слоями, были сыры, мрачны и представляли неуловимую смесь цветов: бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и белого. Прямо перед нами, на темной лазури горизонта, с поражающею ясностью виднелись ярко-белые, матовые массы снеговых гор с их причудливыми, но до малейших подробностей изящными тенями и очертаниями. Сверчки, стрекозы и тысячи других насекомых проснулись в высокой траве и наполняли воздух своими ясными, непрерывными звуками: казалось, бесчисленное множество крошечных колокольчиков звенело в самых ушах. В воздухе пахло водой, травой, туманом – одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром. Капитан вырубил огня и закурил трубку; запах *самброталического табаку* и трута показался мне необыкновенно приятным.

Мы ехали стороной дороги, чтобы скорее догнать пехоту. Капитан казался задумчивее обыкновенного, не выпускал изо рта дагестанской трубочки и с каждым шагом пятками поталкивал ногами свою лошадку, которая, перекачиваясь с боку на бок, прокладывала чуть заметный темно-зеленый след по мокрой высокой траве. Из-под самых ног ее с *тордоканьем*⁴ и тем звуком крыльев, который невольно заставляет вздрагивать охотника, вылетел фазан и медленно стал подниматься кверху. Капитан не обратил на него ни малейшего внимания.

Мы уже почти догоняли батальон, когда сзади нас послышался топот скачущей лошади, и в ту же минуту проскакал мимо очень хорошенький, молоденький юноша в офицерском сюртуке и высокой белой папаше. Поравнявшись с нами, он улыбнулся, кивнул головой капитану и взмахнул плетью... Я успел заметить только, что он как-то особенно грациозно сидел на седле и держал поводья и что у него были прекрасные черные глаза, тонкий носик и едва пробивав-

¹ Курпей на кавказском наречии значит овчина (прим. Л.Н. Толстого).

² Маштак на кавказском наречии значит небольшая лошадь (прим. Л.Н. Толстого).

³ Балка на кавказском наречии значит овраг, ущелье (прим. Л.Н. Толстого).

⁴ Тордоканье – крик фазана (прим. Л.Н. Толстого).

шиеся усики. Мне особенно понравилось в нем то, что он не мог не улыбнуться, заметив, что мы любуемся им. По одной этой улыбке можно было заключить, что он еще очень молод.

– И куда скачет? – с недовольным видом пробормотал капитан, не выпуская чубука изо рта.

– Кто это такой? – спросил я его.

– Прапорщик Аланин, субалтерн-офицер моей роты... Еще только в прошлом месяце прибыл из корпуса.

– Верно, он в первый раз идет в дело? – сказал я.

– То-то и радешенек! – отвечал капитан, глубокомысленно покачивая головой. – Молодость!

– Да как же не радоваться? Я понимаю, что для молодого офицера это должно быть очень интересно.

Капитан помолчал минуты две.

– То-то я и говорю: молодость! – продолжал он басом. – Чему радоваться, ничего не видя! Вот как походишь часто, так не порадуешься. Нас вот, положим, теперь двадцать человек офицеров идет: кому-нибудь да убитым или раненым быть – уж это верно. Нынче мне, завтра ему, а послезавтра третьему: так чему же радоваться-то?

Глава III

Едва яркое солнце вышло из-за горы и стало освещать долину, по которой мы шли, волнистые облака тумана рассеялись и сделалось жарко. Солдаты с ружьями и мешками на плечах медленно шагали по пыльной дороге; в рядах слышался изредка малороссийский говор и смех. Несколько старых солдат в белых кителях – большею частью унтер-офицеры – шли с трубками стороной дороги и степенно разговаривали. Троечные навьюченные верхом повозки подвигались шаг за шагом и поднимали густую неподвижную пыль. Офицеры верхами ехали впереди: иные, как говорится на Кавказе, джигитовали⁵, то есть, ударяя плетью по лошади, заставляли ее сделать прыжка четыре и круто останавливались, оборачивая назад голову; другие занимались песенниками, которые, несмотря на жар и духоту, неумолимо играли одну песню за другою.

Сажень сто впереди пехоты на большом белом коне, с конными татарами, ехал известный в полку за отчаянного храбреца и такого человека, *который хоть кому правду в глаза отрезжет*, высокий и красивый офицер в азиатской одежде. На нем был черный бешмет с галунами, такие же ноговицы, новые, плотно обтягивающие ногу чувяки с чиразами⁶, желтая черкеска и высокая, заломленная назад папаха. На груди и спине его лежали серебряные галуны, на которых надеты были натруска и пистолет за спиной; другой пистолет и кинжал в серебряной оправе висели на поясе. Сверх всего этого была опоясана шашка в красных сафьянных ножнах с галунами и надета через плечо винтовка в черном чехле. По его одежде, посадке, манере держаться и вообще по всем движениям заметно было, что он старается быть похожим на татарина. Он даже говорил что-то на неизвестном мне языке татарам, которые ехали с ним, но по недоумевающим, насмешливым взглядам, которые бросали эти последние друг на друга, мне показалось, что они не понимают его. Это был один из наших молодых офицеров, удалцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму «героев нашего времени», Мулла-Нуров и т. п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов.

Поручик, например, любил, может быть, общество порядочных женщин и важных людей – генералов, полковников, адъютантов, – даже я уверен, что он очень любил это общество, потому что он был тщеславен в высшей степени, – но он считал своей неперемнной обязанностью поворачиваться своей грубой стороной ко всем важным людям, хотя грубил им весьма умеренно, и когда появлялась какая-нибудь барыня в крепости, то считал своей обязанностью ходить мимо ее окон с кунаками⁷ в одной красной рубахе и одних чувяках на босую ногу и как можно громче кричать и браниться, – но все это не столько с желанием оскорбить ее, сколько с желанием показать, какие у него прекрасные белые ноги и как можно бы было влюбиться в него, если бы он сам захотел этого. Или, часто ходя с двумя-тремя мирными татарами по ночам в горы засаживаться на дороге, чтоб подкарауливать и убивать немирных проезжих татар, хотя сердце не раз говорило ему, что ничего тут удалого нет, он считал себя обязанным заставлять страдать людей, в которых он будто разочарован за что-то и которых он будто бы презирал и ненавидел. Он никогда не снимал с себя двух вещей: огромного образа на шее и кинжала сверх рубашки, с которым он даже спать ложился. Он искренно верил, что у него есть враги. Уверить себя, что ему надо отомстить кому-нибудь и кровью смыть обиду, было для него величайшим наслаждением. Он был убежден, что чувства ненависти, мести и презрения к роду человеческому были самые высокие, поэтические чувства. Но любовница его – черкешенка,

⁵ Джигит – по-кумыцки значит храбрый; переделанное же на русский лад *джигитовать* соответствует слову *храбриться* (прим. Л.Н. Толстого).

⁶ Чиразы значит галуны, на кавказском наречии (прим. Л.Н. Толстого).

⁷ Кунак – приятель, друг, на кавказском наречии (прим. Л.Н. Толстого).

разумеется, – с которой мне после случалось видеться, говорила, что он был самый добрый и кроткий человек и что каждый вечер он писал вместе свои мрачные записки, сводил счета на разграфленной бумаге и на коленях молился Богу. И сколько он выстрадал для того, чтобы только перед самим собой казаться тем, чем он хотел быть, потому что товарищи его и солдаты не могли понять его так, как ему хотелось. Раз, в одну из своих ночных экспедиций на дорогу с кунаками, ему случилось ранить пулей в ногу одного немирного чеченца и взять его в плен. Чеченец этот семь недель после этого жил у поручика, и поручик лечил его, ухаживал, как за ближайшим другом, и когда тот вылечился, с подарками отпустил его. После этого, во время одной экспедиции, когда поручик отступал с цепью, отстреливаясь от неприятеля, он услышал между врагами, что кто-то его звал по имени, и его раненый кунак выехал вперед и знаками приглашал поручика сделать то же. Поручик подъехал к своему кунаку и пожал ему руку. Горцы стояли поодаль и не стреляли, но как только поручик повернул лошадь назад, несколько человек выстрелили в него, и одна пуля попала вскользь ему ниже спины. Другой раз я сам видел, как в крепости, ночью, был пожар, и две роты солдат тушили его. Среди толпы, освещенная багровым пламенем пожара, появилась вдруг высокая фигура человека на вороной лошади. Фигура расталкивала толпу и ехала к самому огню. Подъехав уже вплоть, поручик соскочил с лошади и побежал в горящий с одного краю дом. Через пять минут поручик вышел оттуда с опаленными волосами и обожженным локтем, неся за пазухой двух голубков, которых он спас от пламени.

Фамилия его была *Розенкранц*; но он часто говорил о своем происхождении, выводил его как-то от варягов и ясно доказывал, что он и предки его были чистые русские.

Глава IV

Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскаленный воздух жаркие лучи на сухую землю. Темно-синее небо было совершенно чисто; только подошвы снеговых гор начинали одеваться бело-лиловыми облаками. Неподвижный воздух, казалось, был наполнен какою-то прозрачною пылью: становилось нестерпимо жарко. Дойдя до небольшого ручья, который тек на половине дороги, войска сделали привал. Солдаты, составив ружья, бросились к ручью; батальонный командир сел в тени, на барабан, и, выразив на полном лице степень своего чина, с некоторыми офицерами расположился закусывать; капитан лег на траве под ротной повозкой; храбрый поручик Розенкранц и еще несколько молодых офицеров, поместясь на разостланных бурках, собрались кутить, как то заметно было по расставленным около них фляжкам и бутылкам и по особенному одушевлению песенников, которые, стоя полукругом перед ними, с присвистом играли плясовую кавказскую песню на голос лезгинки:

Шамиль вздумал бунтоваться
В прошедшие годы...
Трай-рай, ра-та-тай...
В прошедшие годы...

В числе этих офицеров был и молоденький прапорщик, который обогнал нас утром. Он был очень забавен: глаза его блестели, язык немного путался; ему хотелось целоваться и изъясняться в любви со всеми... Бедный мальчик! Он еще не знал, что в этом положении можно быть смешным, что его откровенность и нежности, с которыми он ко всем навязывался, расположат других не к любви, которой ему так хотелось, а к насмешке, – не знал и того, что, когда он, разгоревшись, бросился, наконец, на бурку и, облокотясь на руку, откинул назад свои черные густые волосы, он был необыкновенно мил.

Одним словом, всем было хорошо, исключая, может быть одного офицера, который, сидя под ротной повозкой, проиграл другому лошадь, на которой ехал, с уговором отдать по возвращении в штаб, и тщетно уговаривал его играть на шкатулку, которая, как все могли подтвердить, была куплена у жида за 30 руб. сер., но которую он, единственно потому, что находился в подмазке, решался пустить в 15. Противник его небрежно посматривал вдаль, упорно отмалчивался и наконец сказал, что ему ужасно спать хочется.

Признаюсь, что с тех пор, как я вышел из крепости и решил побывать в деле, мрачные мысли невольно приходили мне в голову; поэтому, так как мы все имеем склонность по себе судить других, я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в выражения их физиономий; но ни в ком я не мог заметить и тени малейшего беспокойства, которое испытывал сам: шуточки, смехи, рассказы, игра, пьянство выражали общую беззаботность и равнодушие к предстоящей опасности. Как будто нельзя было и предположить, что некоторым уже не суждено вернуться назад по этой дороге, как будто все эти люди давно уже покончили свои дела с этим миром. Что это: решимость ли, привычка ли к опасности, или необдуманность равнодушия к жизни? Или все эти причины вместе и ещё другие, неизвестные мне, составляют один сложный, но могущественный моральный двигатель человеческой природы, называемый *esprit de corps*, – этот неуловимый устав, заключающий в себе общее выражение всех добродетелей и пороков людей, соединенных при каких бы ни было постоянных условиях, – устав, которому каждый новый член невольно и безропотно подчиняется и который не изменяется вместе с людьми? Потому что какие бы ни были люди, общая сумма наклонностей людских везде и всегда остается та же.

Глава V

В седьмом часу вечера, пыльные и усталые, мы вступили в широкие, укрепленные ворота крепости NN. Солнце садилось и бросало косые розовые лучи на живописные батареи и сады с высокими раинами, окружавшие крепость, на засеянные желтеющие поля и на белые облака, которые, столпясь около снеговых гор, как будто подражая им, образовывали цепь не менее причудливую и красивую. Молодой полумесяц, как прозрачное облачко, виднелся на горизонте. В ауле татарин на крыше сакли сзывал правоверных к молитве; песенники заливались с новой удалью и энергией.

Отдохнув и оправясь немного, я отправился к знакомому мне адъютанту с тем, чтобы попросить его доложить о моем намерении генералу. По дороге от форштата⁸, где я остановился, я успел заметить в крепости NN то, чего никак не ожидал. Хорошенькая двухместная каретка, в которой видна была модная шляпка и слышался французский говор, обогнала меня. Из растворенного окна комендантского дома долетали звуки какой-то «Лизанька» или «Катенька-польки», играемой на плохом, расстроенном фортепьяно. В духане, мимо которого я проходил, с папиросами в руках, за стаканами вина сидели несколько писарей, и я слышал, как один говорил другому: «Уж позвольте... что насчет политики, Марья Григорьевна у нас первая дама». Сгорбленный жид, в изношенном сюртуке, с болезненной физиономией, тащил пискливую, сломанную шарманку, и по всему форштату разносились звуки финала из «Лючии». Две женщины в шумящих платьях, повязанные шелковыми платками и с ярко-цветными зонтиками в руках, плавно прошли мимо меня по дощатому тротуару. Две девицы, одна в розовом, другая в голубом платье, с открытыми головами, стояли у завалинки низенького домика и принужденно заливались тоненьким смехом, с видимым желанием обратить на себя внимание проходящих офицеров. Офицеры, в новых сюртуках, белых перчатках и блестящих эполетах, щеголяли по улицам и бульвару.

⁸ предместья (от нем. Vorstadt).



Я нашел своего знакомого в нижнем этаже генеральского дома. Только что я успел объяснить ему свое желание, и он сказал мне, что оно очень может быть исполнено, как мимо окна, у которого мы сидели, простучала хорошенькая каретка, которую я заметил у крыльца. Из кареты вышел высокий, стройный мужчина в пехотном мундире с майорскими эполетами и прошел к генералу.

– Ах, извините, пожалуйста, – сказал мне адъютант, вставая с места, – мне непременно нужно доложить генералу.

– Кто это приехал? – спросил я.

– Графиня, – отвечал он и, застегивая мундир, побежал наверх.

Через несколько минут на крыльцо вышел невысокий, но весьма красивый человек, в сюртуке без эполет, с белым крестом в петличке. За ним вышли майор, адъютант и еще каких-то два офицера. В походке, голосе, во всех движениях генерала выказывался человек, который себе очень хорошо знает высокую цену.

– Bonsoir, madame la comtesse⁹, – сказал он, подавая руку в окно кареты.

Ручка в лайковой перчатке пожала его руку, и хорошенькое, улыбающееся личико в желтой шляпке показалось в окне кареты.

Из всего разговора, продолжавшегося несколько минут, я слышал только, проходя мимо, как генерал, улыбаясь, сказал:

– Vous savez, que j'ai fait voeu de combattre les infidèles; prenez donc garde de le devenir¹⁰.

В карете засмеялись.

– Adieu donc, cher générale¹¹.

– Non, á revoir, – сказал генерал, всходя на ступеньки лестницы, – n'oubliez pas, que je m'invite pour la soirée de demain¹².

Карета застучала дальше.

«Вот еще человек, – думал я, возвращаясь домой, – имеющий все, чего только добиваются русские люди: чин, богатство, знатность, – и этот человек перед боем, который бог один знает чем кончится, шутит с хорошенькой женщиной и обещает пить у нее чай на другой день точно так же, как будто он встретился с нею на бале!» Я вспомнил слышанное мною рассуждение татар о том, что только «байгут» может быть храбрым: *богатый стал – трус стал*, говорят они, нисколько не в обиду своему брату, как общее и неизменное правило. Генерал вместе с жизнью мог потерять гораздо более всех тех, над кем я имел случай сделать наблюдения, и, напротив, никто не выказывал такой милой, грациозной беспечности и уверенности, как он. Понятия мои о храбрости окончательно перепутались.

Тут же, у этого же адъютанта, я встретил одного человека, который еще больше удивил меня; это – молодой поручик К. полка, отличавшийся своей почти женской кротостью и робостью, который пришел к адъютанту изливать свою досаду и негодование на людей, которые будто интриговали против него, чтобы его не назначили в предстоящее дело. Он говорил, что это гадость так поступать, что это не по-товарищески, что он будет это помнить ему и т. д. Сколько я ни вглядывался в выражение его лица, сколько ни вслушивался в звук его голоса, я не мог не убедиться, что он нисколько не притворялся, а был глубоко возмущен и огорчен, что ему не позволили идти стрелять в черкесов и находиться под их выстрелами; он был так огорчен, как бывает огорчен ребенок, которого только что несправедливо высекли... Я совершенно ничего не понимал.

⁹ Добрый вечер, графиня (*франц.*).

¹⁰ Вы знаете, я дал обет сражаться с неверными, так остерегайтесь, чтоб не сделаться неверной (*франц.*).

¹¹ Ну, прощайте, дорогой генерал (*франц.*).

¹² Нет, до свидания, – не забудьте, что я напросился к вам завтра на вечер (*франц.*).

Глава VI

В десять часов вечера должны были выступить войска. В половине девятого я сел на лошадь и поехал к генералу; но, предполагая, что он и адъютант его заняты, я остановился на улице, привязал лошадь к забору и сел на завалинку, с тем чтобы, как только выедет генерал, догнать его.

Солнечный жар и блеск уже сменились прохладой ночи и неярким светом молодого месяца, который, образовывая около себя бледный светящийся полукруг на темной синеве звездного неба, начинал опускаться; в окнах домов и щелях ставен землянок засветились огни. Стройные раины садов, видневшиеся на горизонте из-за выбеленных, освещаемых луною землянок с камышовыми крышами, казались еще выше и чернее. Длинные тени домов, деревьев, заборов ложились красиво по светлой пыльной дороге... На реке без умолку звенели лягушки¹³; на улицах слышны были то торопливые шаги и говор, то скок лошади; с форштата изредка долетали звуки шарманки: то «Виют витры», то какого-нибудь «Auroga-Walzer»¹⁴.

Я не скажу, о чем я задумался: во-первых, потому, что мне совестно было бы признаться в мрачных мыслях, которые неотвязчивой чередой набегали мне в душу, тогда как кругом себя я замечал только веселость и радость, а во-вторых, потому, что это нейдет к моему рассказу. Я задумался так, что даже не заметил, как колокол пробил одиннадцать часов и генерал со свитою проехал мимо меня.

Торопливо сев на лошадь, я пустился догонять отряд.

Арьергард еще был в воротах крепости. Насилу пробрался я по мосту между столпившимися орудиями, ящиками, ротными повозками и шумно распорядившимися офицерами. Выехав за ворота, я рысью объехал чуть не на версту растянувшиеся, молчаливо двигающиеся в темноте войска и догнал генерала. Проезжая мимо вытянувшейся в одно орудие артиллерии и ехавших верхом между орудиями офицеров, меня, как оскорбительный диссонанс среди тихой и торжественной гармонии, поразил немецкий голос, кричавший: «Агхтингхист, падай пааа-альник!» – и голос солдата, торопливо кричавший: «Шевченко! поручик огня спрашивают».

Большая часть неба покрылась длинными темно-серыми тучами; только кое-где между ними блестели неяркие звезды. Месяц скрылся уже за близким горизонтом черных гор, которые виднелись направо, и бросал на верхушки их слабый и дрожащий полусвет, резко противоположный с непроницаемым мраком, покрывавшим их подошвы. В воздухе было тепло и так тихо, что, казалось, ни одна травка, ни одно облачко не шевелились. Было так темно, что на самом близком расстоянии невозможно было определять предметы; по сторонам дороги представлялись мне то скалы, то животные, то какие-то странные люди, и я узнавал, что это были кусты, только тогда, когда слышал их шелест и чувствовал свежесть росы, которую они были покрыты.

Перед собой я видел сплошную колеблющуюся черную стену, за которой следовало несколько движущихся пятен: это были авангард конницы и генерал со свитой. Сзади нас подвигалась такая же черная мрачная масса; но она была ниже первой: это была пехота.

Во всем отряде царствовала такая тишина, что ясно слышались все сливающиеся, исполненные таинственной прелести звуки ночи: далекий заунывный вой *чакалок*, похожий то на отчаянный плач, то на хохот, звонкие однообразные песни сверчка, лягушки, перепела, какой-то приближающийся гул, причины которого я никак не мог объяснить себе, и все те ночные, чуть слышные движения природы, которые невозможно ни понять, ни определить, сливались в один полный прекрасный звук, который мы называем тишиною ночи. Тишина эта нарушалась

¹³ Лягушки на Кавказе производят звук, не имеющий ничего общего с кваканьем русских лягушек (прим. Л.Н. Толстого).

¹⁴ «Аврора-вальс» (нем.).

или, скорее, сливалась с глухим топотом копыт и шелестом высокой травы, которые производил медленнодвигающийся отряд.

Только изредка слышались в рядах звон тяжелого орудия, звук столкнувшихся штыков, сдержанный говор и фыркание лошади. По запаху сочной и мокрой травы, которая ложилась под ногами лошади, легкому пару, подымавшемуся над землей, и с двух сторон открытому горизонту можно было заключить, что мы идем по широкому роскошному лугу.

Природа дышала примирительной красотой и силой.

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой, этим непосредственнейшим выражением красоты и добра.

Война? Какое непонятное явление! Когда рассудок задает себе вопрос: справедливо ли, необходимо ли оно? Внутренний голос всегда отвечает: нет. Одно постоянство этого неестественного явления делает его естественным, а чувство самосохранения – справедливым.

Кто станет сомневаться, что в войне русских с горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне? Если бы не было этой войны, что бы обеспечивало все смежные богатые и просвещенные русские владения от грабежей, убийств и набегов народов диких и воинственных? Но возьмем два частных лица. На чьей стороне чувство самосохранения и, следовательно, справедливость: на стороне ли того оборванца, какого-нибудь Джемиджи, который, услышав о приближении русских, с проклятием снимет со стены старую винтовку и с тремя-четырьмя зарядами в заправках, которые он выпустит недаром, побежит навстречу гяурам и, увидав, что русские все-таки идут вперед, подвигаются к его засеянному полю, которое они вытопчут, к его сакле, которую они сожгут, и к тому оврагу, в котором, дрожа от испуга, спрятались его мать, жена и дети, подумает, что все, что может составить его счастье, все отнимут у него, – в бессильной злобе, с криком отчаяния сорвет с себя оборванный зипунишко, бросит винтовку на землю и, надвинув на глаза папаху, запоет предсмертную песню и с одним кинжалом в руках, очертя голову, бросится на штыки русских? На его ли стороне справедливость, или на стороне этого офицера, состоящего в свите генерала, который так хорошо напевает французские песенки именно в то время, как проезжает мимо нас? Он имеет в России семью, родных, друзей, крестьян и обязанности в отношении их, не имеет никакого повода и желания враждовать с горцами, а приехал на Кавказ... так, чтобы показать свою храбрость. Или на стороне моего знакомого адъютанта, который желает только получить скорее чин капитана и тепленькое местечко и по этому случаю сделался врагом горцев? Или на стороне этого молодого немца, который с сильным немецким выговором требует пальник у артиллериста? Каспар Лаврентьевич, сколько мне известно, уроженец Саксонии. Чего же он не поделил с кавказскими горцами? Какая нелегкая вынесла его из отечества и бросила за тридевять земель? С какой стати саксонец Каспар Лаврентьевич вмешался в нашу кровавую ссору с беспокойными соседями?

Глава VII

Мы ехали уже более двух часов. Меня пробирали дрожь и начинало клонить ко сну. Во мраке смутно представлялись те же неясные предметы: в некотором отдалении – черная стена, такие же движущиеся пятна; подле самого меня – круп белой лошади, которая, помахивая хвостом, широко раздвигала задними ногами; спина в белой черкеске, на которой покачивалась винтовка в черном чехле и виднелась белая головка пистолета в шитой кобуре; огонек папиросы, освещающий русые усы, брововый воротник и руку в замшевой перчатке. Я нагнулся к шее лошади, закрывал глаза и забывался на несколько минут; потом вдруг знакомый топот и шелест поражали меня: я озирался, и мне казалось, что я стою на месте, что черная стена, которая была передо мной, двигается на меня, или что стена эта остановилась, и я сейчас наеду на нее. В одну из таких минут меня поразил еще сильнее тот приближающийся непрерывный гул, причины которого я не мог отгадать. Это был шум воды. Мы входили в глубокое ущелье и приближались к горной реке, которая была в это время во всем разливе¹⁵. Гул усиливался, сырая трава становилась гуще и выше, кусты попадались чаще, и горизонт постепенно суживался. Изредка на мрачном фоне гор вспыхивали в различных местах яркие огни и тотчас же исчезали.

– Скажите, пожалуйста, что это за огни? – спросил я шепотом у татарина, ехавшего подле меня.

– А ты не знаешь? – отвечал он.

– Не знаю.

– *Это горской соломой на таяк¹⁶ связал и огонь махать будет.*

– Зачем же это?

– *Чтобы всякий человек знал – русской пришел. Теперь в аулах, –* прибавил он, засмеявшись, *– ай-ай, томаша¹⁷ идет, всякий хурда-мурда¹⁸ будет в балка тащить.*

– Разве в горах уже знают, что отряд идет? – спросил я.

– *Эй! как можно не знает! всегда знает: наши народ такой!*

– Так и Шамиль теперь собирается в поход? – спросил я.

– *Йок¹⁹, –* отвечал он, качая головой в знак отрицания. *– Шамиль на похода ходит не будет, Шамиль наиб²⁰ пошлет, а сам труба смотреть будет наверху.*

– А далеко он живет?

– *Далеко нету. Вот, левая сторона, верста десять будет.*

– Почему же ты знаешь? – спросил я. – Разве ты был там?

– *Был, наша все в горах был.*

– И Шамиля видел?

– *Пих! Шамиля наша видно не будет. Сто, триста, тысяча мюрид²¹ кругом. Шамиль середка будет!* – прибавил он с выражением подобострастного уважения.

¹⁵ Разлив рек на Кавказе бывает в июле месяце (прим. Л.Н. Толстого).

¹⁶ Таяк значит шест, на кавказском наречии (прим. Л.Н. Толстого).

¹⁷ Томаша значит хлопоты, на особенном наречии, изобретенном русскими и татарами для разговора между собой. Есть много слов на этом странном наречии, корень которых нет возможности отыскать ни в русском, ни в татарском языках (прим. Л.Н. Толстого).

¹⁸ Хурда-мурда – пожитки, на том же наречии (прим. Л.Н. Толстого).

¹⁹ Йок – по-татарски значит нет (прим. Л.Н. Толстого).

²⁰ Наибами называют людей, которым вверена от Шамиля какая-нибудь часть управления (прим. Л.Н. Толстого).

²¹ Слово «мюрид» имеет много значений, но в том смысле, в котором употреблено здесь, значит что-то среднее между адъютантом и телохранителем (прим. Л.Н. Толстого).

Взглянув кверху, можно было заметить, что выяснившееся небо начинало светлеть на востоке и стожары опускаться к горизонту; но в ущелье, по которому мы шли, было сыро и мрачно.

Вдруг немного впереди нас, в темноте, зажглось несколько огоньков; в то же мгновение с визгом прожужжали пули, и среди окружающей тишины далеко раздалась короткие, сухие выстрелы и громкий крик, пронзительный, как крик отчаяния, но выражающий не страх, а такой зверский порыв удачи и злости, что нельзя не содрогнуться, слушая его. Это был неприятельский передовой пикет. Татары, составлявшие его, гикнули, выстрелили наудачу и разбежались.

Все смолкло. Генерал позвал переводчика. Татарин в белой черкеске подъехал к нему и о чем-то шепотом и с жестами довольно долго говорил с ним.

– Полковник Хасанов, прикажите рассыпать цепь, – сказал генерал тихим, протяжным, но внятным голосом.

Отряд подошел к реке; черные горы ущелья оставались сзади; начинало светать. Небосклон, на котором чуть заметны были бледные, неяркие звезды, казался выше; зарница начала ярко блестеть на востоке; свежий, прохватывающий ветерок тянул с запада, и светлый туман, как пар, подымался над шумящею рекой.

Глава VIII

Вожак показал брод, и авангард конницы, а вслед за ним и генерал со свитой стали переправляться. Вода была лошадям по грудь, с необыкновенной силой рвалась между белых камней, которые в иных местах виднелись на уровне воды, и образовывала около ног лошадей пенящиеся, шумящие струи. Лошади удивлялись шуму воды, подымали головы, настораживали уши, но мерно и осторожно шагали против течения по неровному дну. Седоки подбирали ноги и оружие. Пехотные солдаты, буквально в одних рубахах, поднимая над водою ружья, на которые надеты были узлы с одеждой, схватясь человек по двадцати рука с рукою, с заметным по их напряженным лицам усилием старались противостоять течению. Артиллерийские ездовые с громким криком рысью пускали лошадей в воду. Орудия и зеленые ящики, через которые изредка хлестала вода, звенели о каменное дно; но добрые черноморки дружно натягивали уносы, пенили воду и с мокрым хвостом и гривой выбирались на другой берег.

Как скоро переправа кончилась, генерал вдруг выразил на своем лице какую-то задумчивость и серьезность, повернул лошадь и с конницею рысью поехал по широкой, окруженной лесом поляне, открывшейся перед нами. Казачьи конные цепи рассыпались вдоль опушек.

В лесу виднеется пеший человек в черкеске и папахе, другой, третий... Кто-то из офицеров говорит: «Это татары». Вот показался дымок из-за дерева... выстрел, другой... Наши частые выстрелы заглушают неприятельские. Только изредка пуля, с медленным звуком, похожим на полет пчелы, пролетая мимо, доказывает, что не все выстрелы наши. Вот пехота беглым шагом и орудия на рысях прошли в цепь; слышатся гудящие выстрелы из орудий, металлический звук полета картечи, шипение ракет, трескотня ружей. Конница, пехота и артиллерия виднеются со всех сторон по обширной поляне. Дымки орудий, ракет и ружей сливаются с покрытой росой зеленью и туманом. Полковник Хасанов подскакивает к генералу и на всем марш-марше круто останавливает лошадь.



– Ваше превосходительство! – говорит он, приставляя руку к папахе. – Прикажете пустить кавалерию: показались значки²², – и он указывает плетью на конных татар, впереди которых едут два человека на белых лошадях с красными и синими лоскутами на палках.

– С Богом, Иван Михайлович! – говорит генерал.

Полковник на месте поворачивает лошадь, выхватывает шашку и кричит: «Ура!»

– Урра! Урра! Урра! – раздается в рядах, и конница несется за ним.

²² Значки между горцами имеют почти значение знамен, с тою только разницею, что всякий джигит может сделать себе значок и возить его (*прим. Л.Н. Толстого*).

Все смотрят с участием: вон значок, другой, третий, четвертый...

Неприятель, не дожидаясь атаки, скрывается в лес и открывает оттуда ружейный огонь.

Пули летают чаще.

– *Quel charmant coup d’oeil!*²³ – говорит генерал, слегка припрыгивая по-английски на своей вороной тонконогой лошадке.

– *Charmant!* – отвечает, грассируя, майор и, ударяя плетью по лошади, подъезжает к генералу. – *C’est un vrai plaisir, que la guerre dans un aussi beau pays*²⁴, – говорит он.

– *Et surtout en bonne compagnie*²⁵, – прибавляет генерал с приятной улыбкой.

Майор наклонился.

В это время с быстрым неприятным шипением пролетает неприятельское ядро и ударяется во что-то; сзади слышен стон раненого. Этот стон так странно поражает меня, что воинственная картина мгновенно теряет для меня всю свою прелесть; но никто, кроме меня, как будто не замечает этого: майор смеется, как кажется, с большим увлечением; другой офицер совершенно спокойно повторяет начатые слова речи; генерал смотрит в противоположную сторону и со спокойнейшей улыбкой говорит что-то по-французски.

– Прикажете отвечать на их выстрелы? – спрашивает, подскакивая, начальник артиллерии.

– Да, попугайте их, – небрежно говорит генерал, закуривая сигару.

Батарея выстраивается, и начинается пальба. Земля стонет от выстрелов, огни беспрестанно вспыхивают, и дым, в котором едва можно различить движущуюся прислугу около орудий, застилает глаза.

Аул обстрелян. Снова подъезжает полковник Хасанов и по приказанию генерала летит в аул. Крик войны снова раздается, и конница исчезает в поднятом ею облаке пыли.

Зрелище было истинно величественное. Одно только для меня, как человека, не принимавшего участия в деле и непривычного, портило вообще впечатление, было то, что мне казалось лишним – и это движение, и одушевление, и крики. Невольно приходило сравнение человека, который сплеча топором рубил бы воздух.

²³ Какое прекрасное зрелище! (*франц.*).

²⁴ Очаровательно! Истинное наслаждение – воевать в такой прекрасной стране (*франц.*).

²⁵ И особенно в хорошей компании (*франц.*).

Глава IX

Аул уже был занят нашими войсками, и ни одной неприятельской души не оставалось в нем, когда генерал со свитой, в которую вмещался и я, подъехал к нему.

Длинные чистые сакли с плоскими земляными крышами и красивыми трубами были расположены по неровным каменистым буграм, между которыми текла небольшая река. С одной стороны виднелись освещенные ярким солнечным светом зеленые сады с огромными грушевыми и лычевыми²⁶ деревьями; с другой – торчали какие-то странные тени, перпендикулярно стоящие высокие камни кладбища и длинные деревянные шесты с приделанными к концам шарами и разноцветными флагами. (Это были могилы джигитов.)

Войска в порядке стояли за воротами.

– Ну, что ж, полковник, – сказал генерал, – пускай грабят. Я вижу, им ужасно хочется, – прибавил он, улыбаясь и указывая на казаков.

Нельзя себя представить, как поразителен контраст небрежности, с которой генерал сказал эти слова, с их значением и воинственной обстановкой.

Через минуту драгуны, казаки, пехотинцы с видимой радостью рассыпались по кривым переулкам, и пустой аул мгновенно оживился. Там рушится кровля, стучит топор по крепкому дереву и выламывают дощатую дверь; тут загораются стог сена, забор, сакля, и густой дым столбом подымается по ясному воздуху. Вот казак тащит куль муки и ковер; солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку; другой, расставив руки, старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются около забора; третий нашел где-то огромный кумган²⁷ с молоком, пьет из него и с громким хохотом бросает потом на землю.

Батальон, с которым я шел из крепости N, тоже был в ауле. Капитан сидел на крыше сакли и пускал из коротенькой трубочки струйки дыма *самброталического табаку* с таким равнодушным видом, что, когда я увидел его, я забыл, что я в немирном ауле, и мне показалось, что я в нем совершенно дома.

– А! и вы тут? – сказал он, заметив меня.

Высокая фигура поручика Розенкранца то там, то сям мелькала в ауле: он без умолку распоряжался и имел вид человека, чем-то крайне озабоченного. Я видел, как он с торжествующим видом вышел из одной сакли; вслед за ним двое солдат вели связанного старого татарина. Старик, всю одежду которого составляли распадавшиеся в лохмотьях пестрый бешмет и лоскутные портки, был так хил, что туго стянутые за сгорбленной спиной костлявые руки его, казалось, едва держалась в плечах, и кривые босые ноги насилию передвигались. Лицо его и даже часть бритой головы были изрыты глубокими морщинами; искривленный беззубый рот, окруженный седыми подстриженными усами и бородой, беспрестанно шевелился, как будто жуя что-то; но в красных, лишенных ресниц глазах еще блистал огонь и ясно выражалось старческое равнодушие к жизни.

Розенкранц через переводчика спросил его, зачем он не ушел с другими.

– Куда мне идти? – сказал он, спокойно глядя в сторону.

– Туда, куда другие ушли, – заметил кто-то.

– Джигиты пошли драться с русскими, а я старик.

– Разве ты не боишься русских?

– Что мне русские сделают? Я старик, – сказал он опять, небрежно оглядывая кружок, составившийся около него.

²⁶ Лыча – мелкая слива (прим. Л.Н. Толстого).

²⁷ Кумган – горшок (прим. Л.Н. Толстого).

Возвращаясь назад, я видел, как этот старик, без шапки, со связанными руками, тряся за седлом линейного казака и с тем же бесстрастным выражением смотрел вокруг себя. Он был необходим для размена пленных.

Я влез на крышу и расположился подле капитана.

Был позван горнист, у которого находилась водка и закуска. Спокойствие и равнодушие капитана невольно отразились и на мне. Мы ели жареного фазана и разговаривали, несколько не помышляя о том, что люди, которым принадлежит сакля, не только не желали видеть нас тут, но едва ли могли предполагать возможность нашего существования.

– Неприятеля, кажется, было немного, – сказал я ему, желая узнать его мнение о бывшем деле.

– Неприятеля? – повторил он с удивлением. – Да его вовсе не было. Разве это называется неприятель?.. Вот вечерком посмотрите, как мы отступить станем: увидите, как провожать начнут, что их там высыплет! – прибавил он, указывая трубкой на перелесок, который мы проходили утром.

– Что это такое? – спросил я с беспокойством, прерывая капитана и указывая на собравшихся недалеко от нас около чего-то донских казаков.

Между ними слышалось что-то похожее на плач ребенка и слова:

– Э, не руби... стой... увидят... Нож есть, Евстигнееч?.. Давай нож...

– Что-нибудь делят, подлецы, – спокойно сказал капитан.

Но в то же самое время с разгоревшимся, испуганным лицом вдруг выбежал из-за угла хорошенький прапорщик и, махая руками, бросился к казакам.

– Не трогайте, не бейте его! – кричал он детским голосом.

Увидев офицера, казаки расступились и выпустили из рук белого козленка. Молодой прапорщик совершенно растерялся, забормотал что-то и со сконфуженной физиономией остановился перед ним. Увидав на крыше меня и капитана, он покраснел еще больше и, припрыгивая, подбежал к нам.

– Я думал, что это они ребенка хотят убить, – сказал он, робко улыбаясь.

Глава X

Генерал с конницей поехал вперед. Батальон, с которым я шел из крепости N, остался в арьегарде. Роты капитана Хлопова и поручика Розенкранца отступали вместе.

Предсказание капитана вполне оправдалось: как только мы вступили в узкий перелесок, про который он говорил, с обеих сторон стали беспрестанно мелькать конные и пешие горцы, и так близко, что я очень хорошо видел, как некоторые, согнувшись, с винтовкой в руках перебежали от одного дерева к другому.

Капитан снял шапку и набожно перекрестился; некоторые старые солдаты сделали то же. В лесу послышались гиканье, слова: «Иай гяур! Урус иай!» Сухие, короткие винтовочные выстрелы следовали один за другим, и пули визжали с обеих сторон. Наши молча отвечали беглым огнем; в рядах их только изредка слышались замечания вроде следующих: «Он²⁸ откуда палит, *ему* хорошо из-за леса, *орудию* бы нужно...» и т. д.

Орудия въезжали в цепь, и после нескольких залпов картечью неприятель, казалось, ослабевал, но через минуту и с каждым шагом, который делали войска, снова усиливал огонь, крики и гиканье.

Едва мы отступили сажень на триста от аула, как над нами со свистом стали летать неприятельские ядра. Я видел, как ядром убило солдата... Но зачем рассказывать подробности этой страшной картины, когда я сам дорого бы дал, чтобы забыть ее!

Поручик Розенкранц сам стрелял из винтовки, не умолкая ни на минуту, хриплым голосом кричал на солдат и во весь дух скакал с одного конца цепи на другой. Он был несколько бледен, и это очень шло к его воинственному лицу.

Хорошенький прапорщик был в восторге: прекрасные черные глаза его блестели отвагой, рот слегка улыбался; он беспрестанно подъезжал к капитану и просил его позволения броситься *на ура*.

– Мы их отобьем, – убедительно говорил он, – право, отобьем.

– Не нужно, – кратко отвечал капитан. – Надо отступить.

Рота капитана занимала опушку леса и лежа отстреливалась от неприятеля. Капитан в своем изношенном сюртуке и взъерошенной шапочке, опустив поводья белому маштачку и подкорчив на коротких стременах ноги, молча стоял на одном месте. (Солдаты так хорошо знали и делали свое дело, что нечего было приказывать им.) Только изредка он возвышал голос, прикрикивая на тех, которые подымали головы. В фигуре капитана было очень мало воинственного, но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. «Вот кто истинно храбр», – сказалось мне невольно.

Он был *точно таким же, каким я всегда видел его*: те же спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитрости на его некрасивом, но простом лице; только по более, чем обыкновенно, светлому взгляду можно было заметить в нем внимание человека, спокойно занятого своим делом. Легко сказать: *таким же, как и всегда!* Но сколько различных оттенков я замечал в других: один хочет казаться спокойнее, другой суровее, третий веселее, чем обыкновенно; по лицу же капитана заметно, что он и не понимает, зачем казаться.

Француз, который при Ватерлоо сказал: «*La garde meurt, mais ne se rend pas*»²⁹, и другие, в особенности французские герои, которые говорили достопамятные изречения, были храбры и действительно говорили достопамятные изречения; но между их храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово, в каком бы то ни было случае, даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не сказал бы его: во-первых, потому, что, сказав

²⁸ Он – собирательное название, под которым кавказские солдаты понимают вообще неприятеля (прим. Л.Н. Толстого).

²⁹ «Гвардия умирает, но не сдается» (франц.).

великое слово, он боялся бы этим самым испортить великое дело, а во-вторых, потому, что, когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнению, особенная и высокая черта русской храбрости; и как же после этого не болей русскому сердцу, когда между нашими молодыми воинами слышишь французские пошлые фразы, имеющие претензию на подражание устарелому французскому рыцарству?..

Вдруг в той стороне, где стоял хорошенький прапорщик со взводом, послышалось недружное и негромкое «ура». Оглянувшись на этот крик, я увидел человек тридцать солдат, которые с ружьями в руках и мешками на плечах насилу-насилу бежали по вспаханному полю. Они спотыкались, но все подвигались вперед и кричали. Впереди их, выхватив шашку, скакал молодой прапорщик.

Все скрылось в лесу...

Через несколько минут гиканья и трескотни из лесу выбежала испуганная лошадь, и в опушке показались солдаты, выносившие убитых и раненых; в числе последних был молодой прапорщик. Два солдата держали его под мышки. Он был бледен, как платок, и хорошенькая головка, на которой заметна была только тень того воинственного восторга, который одушевлял ее за минуту перед этим, как-то страшно углубилась между плеч и спустилась на грудь. На белой рубашке под расстегнутым сюртуком виднелось небольшое кровавое пятнышко.

– Ах, какая жалость! – сказал я невольно, отворачиваясь от этого печального зрелища.

– Известно, жалко, – сказал старый солдат, который с угрюмым видом, облокотясь на ружье, стоял подле меня. – Ничего не боится: как же этак можно! – прибавил он, пристально глядя на раненого. – Глуп еще – вот и поплатился.

– А ты разве боишься? – спросил я.

– А то нет!

Глава XI

Четыре солдата на носилках несли прапорщика; за ними форштатский солдат вел худую, разбитую лошадь с навьюченными на нее двумя зелеными ящиками, в которых хранилась фельдшерская принадлежность. Дожидались доктора. Офицеры подъезжали к носилкам и старались ободрить и утешить раненого.

– Ну, брат Аланин, не скоро опять можно будет поплясать с ложечками, – сказал с улыбкой подъехавший поручик Розенкранц.

Он, должно быть, полагал, что слова эти поддержат бодрость хорошенького прапорщика; но, сколько можно было заметить по холодно-печальному выражению взгляда последнего, слова эти не произвели желанного действия.

Подъехал и капитан. Он пристально посмотрел на раненого, и на всегда равнодушно-холодном лице его выразилось искреннее сожаление.

– Что, дорогой мой Анатолий Иванович? – сказал он голосом, звучащим таким нежным участием, какого я не ожидал от него. – Видно, так Богу угодно.

Раненый оглянулся; бледное лицо его оживилось печальной улыбкой.

– Да, вас не послушался.

– Скажите лучше: так Богу угодно, – повторил капитан.

Приехавший доктор, сколько я мог заметить по нетвердости в ногах и красным глазам, находился не в приличном положении для делания перевязки; однако же он принял от фельдшера бинты, зонд и другую принадлежность и, засучивая рукава, с ободрительной улыбкой подошел к раненому.

– Что, видно, и вам сделали дырочку на целом месте, – сказал он шутливо-небрежным тоном. – Покажите-ка.

Прапорщик повиновался, но в выражении, с которым он взглянул на него, были удивление и упрек, которых не заметил нетрезвый доктор.

Доктор так неловко щупал рану и без всякой надобности давил ее трясущимися пальцами, что выведенный из терпения раненый с тяжелым стоном отодвинул его руку...

– Оставьте меня, – сказал он чуть слышным голосом, – все равно я умру. – Потом, обращаясь к капитану, он насилу проговорил: – Пожалуйста, капитан... я вчера... проиграл... Дронову двенадцать монет... Когда будут продавать мои вещи... отдайте ему.

С этими словами он упал на спину, и через пять минут, когда я, подходя к группе, образовавшейся подле него, спросил у солдата: «Что прапорщик?» – мне отвечали: «Отходит».

Глава XII

Уже было поздно, когда отряд, построившись широкою колонной, с песнями подходил к крепости. Генерал ехал впереди, и по веселому лицу можно было заключить, что набег был удачен. Действительно, мы с небольшой потерей были в тот день в Макай-ауле – месте, в котором с незапамятных времен не была нога русских.

Саксонец Каспар Лаврентьевич рассказывал другому офицеру, что он сам видел, как три черкеса целились ему в грудь. В уме офицера, поручика Розенкранца, слагался полный рассказ о деле нынешнего дня. Капитан Хлопов шел с задумчивым лицом перед ротой и тянул за повод белую лошадку. В обозе везли мертвое тело хорошенького прапорщика.

Солнце скрылось за снеговым хребтом и бросало последние розовые лучи на длинное, тонкое облако, остановившееся на ясном, прозрачном горизонте. Снеговые горы начинали скрываться в лиловом тумане; только верхняя линия их обозначалась с чрезвычайной ясностью на багровом свете заката. Давно взошедший прозрачный месяц начинал белеть на темной лазури. Зелень травы и деревьев чернела и покрывалась росой. Темные массы войск мерно шумели и двигались по роскошному лугу; в различных сторонах слышались бубны, барабаны и веселые песни. Подголосок шестой роты звучал изо всех сил, и, исполненные чувства и силы, звуки его чистого грудного тенора далеко разносились по прозрачному вечернему воздуху.

Рубка леса

Рассказ юнкера

Глава I

В середине зимы 185... года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером четырнадцатого февраля, узнав, что взвод, которым я командовал за отсутствием офицера, назначен в завтрашней колонне на рубку леса, и с вечера же получив и передав нужные приказания, я раньше обыкновенного отправился в свою палатку и, не имея дурной привычки нагревать ее горячими углями, не раздеваясь лег на свою построенную на колышках постель, надвинул на глаза папаху, закутался в шубу и заснул тем особенным, крепким и тяжелым сном, которым спится в минуты тревоги и беспокойства перед опасностью. Ожидание дела назавтра привело меня в это состояние.

В три часа утра, когда еще было совершенно темно, с меня сдернули обогретый тулуп, и багровый огонь свечки неприятно поразил мои заспанные глаза.

«Извольте вставать», – сказал чей-то голос. Я закрыл глаза, бессознательно натянул на себя опять тулуп и заснул. «Извольте вставать, – повторил Дмитрий, безжалостно раскачивая меня за плечо. – Пехота выступает». Я вдруг вспомнил действительность, вздрогнул и вскочил на ноги. Наскоро выпив стакан чаю и умывшись оледенелой водой, я вылез из палатки и пошел в парк (место, где стоят орудия). Было темно, туманно и холодно. Ночные костры, светившиеся там и сям по лагерю, освещая фигуры сонных солдат, расположившихся около них, увеличивали темноту своим неярким багровым светом. Вблизи слышался равномерный, спокойный храп, вдали – движение, говор и бряцанье ружей пехоты, готовившейся к выступлению; пахло дымом, навозом, фитилем и туманом; по спине пробегала утренняя дрожь, и зубы против воли ощупывали друг друга.

Только по фырканию и редкому топоту можно было разобрать в этой непроницаемой темноте, где стоят запряженные передки и ящики, и по светящимся точкам пальников – где стоят орудия. Со словами «с Богом» зазвенело первое орудие, за ним зашумел ящик, и взвод тронулся. Мы все сняли шапки и перекрестились. Вступив в интервал между пехотой, взвод остановился и с четверть часа дожидался сбора всей колонны и выезда начальника.

– А у нас одного солдата нет, Николай Петрович! – сказала, подходя ко мне, черная фигура, которую я только по голосу узнал за взводного фейерверкера Максимова.

– Кого?

– Веленчука нет-с. Как запрягали, он все тут был, – я его видал, а теперь нет.

Так как нельзя было предполагать, чтобы колонна тронулась сейчас же, мы решили послать отыскивать Веленчука строевого ефрейтора Антонова. Скоро после этого мимо нас в темноте прорысало несколько конных: это был начальник со свитой; а вслед за тем зашевелилась и тронулась голова колонны, наконец и мы, а Антонова и Веленчука не было. Однако не успели мы пройти сто шагов, как оба солдата догнали нас.

– Где он был? – спросил я у Антонова.

– В парке спал.

– Что, он хмелен, что ли?

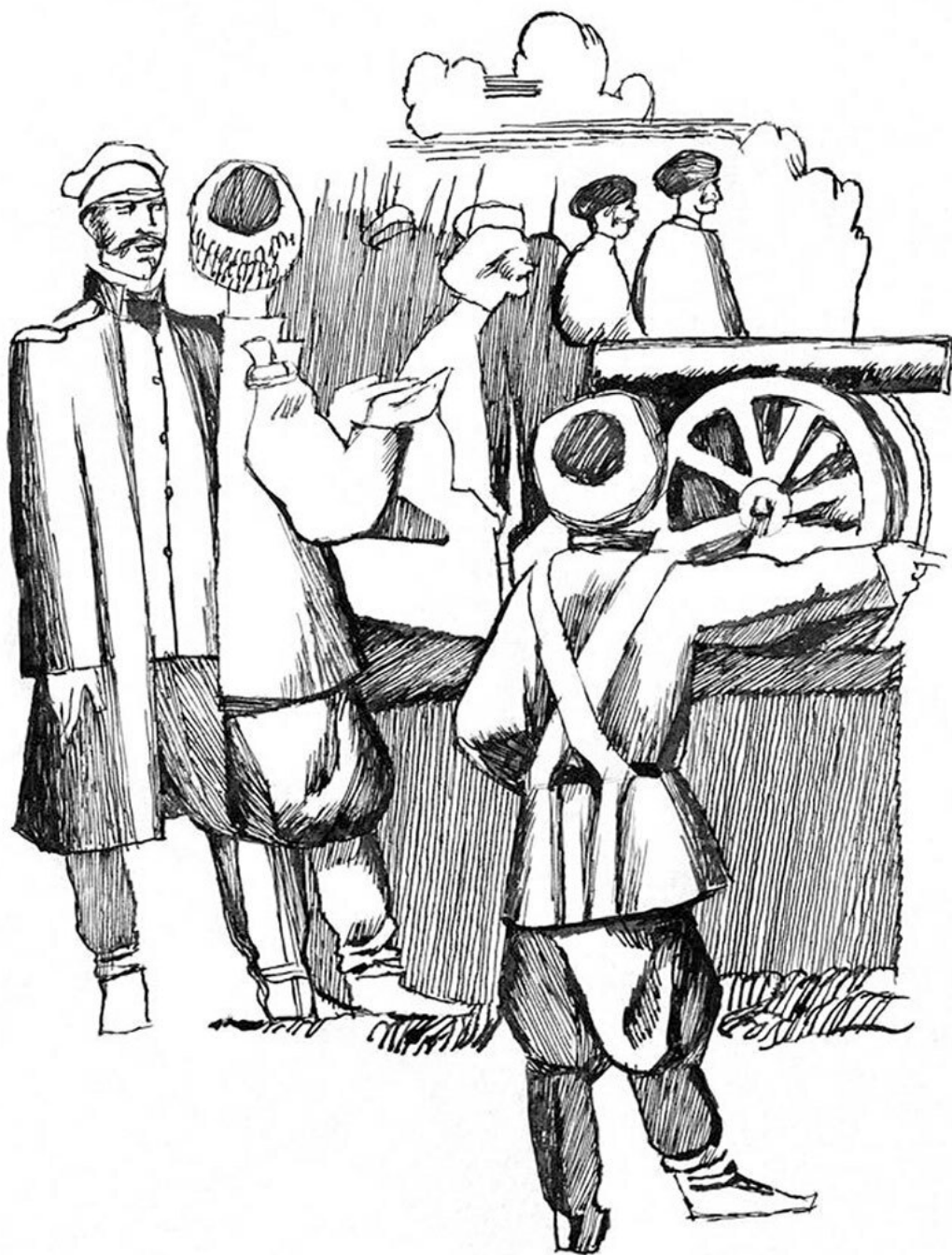
– Никак нет.

– Так отчего же он заснул?

– Не могу знать.

Часа три мы медленно двигались по каким-то испаханым бесснежным полям и низким кустам, хрустевшим под колесами орудий, в том же безмолвии и мраке. Наконец, перейдя неглубокий, но чрезвычайно быстрый ручей, нас остановили, и в авангарде послышались отрывчатые винтовочные выстрелы. Звуки эти, как и всегда, особенно возбуждительно подействовали на всех. Отряд как бы проснулся: в рядах послышались говор, движение и смех. Солдаты кто боролся с товарищем, кто перепрыгивал с ноги на ногу, кто жевал сухарь или, для

препровождения времени, *отбивал* на караул и к ноге. Притом туман заметно начинал белеть на востоке, сырость становилась ощутительнее, и окружающие предметы постепенно выходили из мрака. Я различал уже зеленые лафеты и ящики, покрытую туманной сыростью медь орудий, знакомые, невольно изученные до малейших подробностей фигуры моих солдат, гнедых лошадей и ряды пехоты с их светлыми штыками, торбами, пыжовниками и котелками за спинами.



Скоро нас снова тронули и, проведя несколько сот шагов без дороги, указали место. Справа виднелась крутой берег извилистой речки и высокие деревянные столбы татарского кладбища; слева и спереди сквозь туман проглядывала черная полоса. Взвод снялся с передков. Восьмая рота, прикрывавшая нас, составила ружья в козлы, и батальон солдат с ружьями и топорами вошел в лес.

Не прошло пяти минут, как со всех сторон затрещали и задымились костры, рассыпались солдаты, раздувая огни руками и ногами, таская сучья и бревна, и в лесу неумолкаемо зазвучали сотни топоров и падающих деревьев.

Артиллеристы, с некоторым соперничеством перед пехотными, разложили свой костер, и, хотя он уже так разгорелся, что на два шага подойти нельзя было, и густой черный дым проходил сквозь обледенелые ветви, с которых капли шипели на огне и которые нажимали на огонь солдаты, снизу образовывались угли, и помертвевшая белая трава оттаивала кругом костра, – солдатам все казалось мало: они тащили целые бревна, подсовывали бурьян и раздували все больше и больше.

Когда я подошел к костру, чтобы закурить папиросу, Веленчук, и всегда хлопотун, но теперь, как провинившийся, больше всех старавшийся около костра, в припадке усердия достал из самой середины голой рукой уголь, перебросил раза два из руки в руку и бросил на землю.

– Ты форостинку зажги да подай, – сказал другой.

– Пальник, братцы, подайте, – сказал третий.

Когда я, наконец, без помощи Веленчука, который опять было руками хотел взять уголь, зажег папиросу, он потер обожженные пальцы о задние полы полушубка и, должно быть, чтоб что-нибудь делать, поднял большой чинаровый отрубок и с размаху бросил его на костер. Когда, наконец, ему показалось, что можно отдохнуть, он подошел к самому жару, распахнул шинель, надетую на нем в виде епанчи, на задней пуговице, расставил ноги, выставил вперед свои большие черные руки и, скривив немного рот, зажмурился.

– Эх-ма! Трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! – сказал он, помолчав немного и не обращаясь ни к кому в особенности.

Глава II

В России есть три преобладающие типа солдат, под которые подходят солдаты всех войск: кавказских, армейских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и т. д.

Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, следующие:

- 1) покорных,
- 2) начальствующих и
- 3) отчаянных.

Покорные подразделяются на а) покорных хладнокровных, б) покорных хлопотливых.

Начальствующие подразделяются на а) начальствующих суровых и б) начальствующих политических.

Отчаянные подразделяются на а) отчаянных забавников и б) отчаянных развратных.

Чаще других встречающийся тип, – тип более всего милый, симпатичный и большей частью соединенный с лучшими христианскими добродетелями: кротостью, набожностью, терпением и преданностью воле Божьей, – есть тип покорного вообще. Отличительная черта покорного хладнокровного есть ничем несокрушимое спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его. Отличительная черта покорного пьющего есть тихая поэтическая склонность и чувствительность; отличительная черта хлопотливого – ограниченность умственных способностей, соединенная с бесцельным трудолюбием и усердием.

Тип же начальствующих вообще встречается преимущественно в высшей солдатской сфере: ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей и т. д., и, по первому подразделению начальствующих суровых, есть тип весьма благородный, энергический, преимущественно военный, не исключаяющий высоких поэтических порывов (к этому-то типу принадлежал ефрейтор Антонов, с которым я намерен познакомить читателя). Второе подразделение составляют начальствующие политичные, с некоторого времени начинающие сильно распространяться. Начальствующий политичный бывает всегда красноречив, грамотен, ходит в розовой рубашке, не ест из общего котла, курит иногда мусатов табак, считает себя несравненно выше простого солдата и редко сам бывает столь хорошим солдатом, как начальствующие первого разряда.

Тип отчаянного, точно так же, как и тип начальствующего, хорош в первом подразделении – отчаянных забавников, отличительными чертами которых суть непоколебимая веселость, огромные способности ко всему, богатство природы и удаля, – и так же ужасно дурен во втором подразделении – отчаянных развратных, которые, однако, нужно сказать к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обществом солдатским. Неверие и какое-то удаляство в пороке – главные черты характера этого разряда.

Веленчук принадлежал к разряду покорных хлопотливых. Он был малороссиянин родом, уже пятнадцати лет на службе, и хотя невидный и не слишком ловкий солдат, но простодушный, добрый, чрезвычайно усердный, хотя большею частью нехвата, и чрезвычайно честный. Я говорю: чрезвычайно честный, потому что в прошлом году был случай, в котором он показал весьма очевидно это характеристическое свойство. Надобно заметить, что почти каждый из солдат имеет мастерство. Более распространенные мастерства: портняжное и сапожное. Веленчук сам научился первому и даже, судя по тому, что сам Михаил Дорофеич, фельдфебель, давал ему шить на себя, дошел до известной степени совершенства. В прошлом году в лагере Веленчук взялся шить тонкую шинель Михаилу Дорофеичу, но в ту самую ночь, когда он, скроив сукно и прикинув приклад, положил к себе в палатке под голову, с ним случилось несчастье: сукно, которое стоило семь рублей, в ночь пропало! Веленчук, со слезами на глазах, с дрожащими бледными губами и сдержанными рыданиями, объявил о том фельдфебелю.

Михаил Дорофеич прогневался. В первую минуту досады он пригрозил портному, но потом, как человек с достатком и хороший, махнул рукой и не требовал с Веленчука возвращения ценности шинели. Как ни хлопотал хлопотливый Веленчук, как ни плакал, рассказывая про свое несчастье, вор не нашелся. Хотя и были сильные подозрения на одного отчаянного развратного солдата, Чернова, спавшего с ним в одной палатке, но не было положительных доказательств. Начальствующий политичный Михаил Дорофеич, как человек с достатком, занимаясь кое-какими сделочками с каптенармусом и артельщиком, аристократами батареи, скоро совершенно забыл о пропаже партикулярной шинели; Веленчук же, напротив, не забыл своего несчастья. Солдаты говорили, что в это время они боялись за него, как бы он не наложил на себя рук или не бежал в горы: так сильно на него подействовало это несчастье. Он не пил, не ел, работать даже не мог и все плакал. Через три дня он явился к Михаилу Дорофеичу и, весь бледный, дрожащей рукой достал из-за обшлага золотой и подал ему. «Ей-богу, последние, Михаил Дорофеич, и те у Жданова занял, – сказал он, снова всхлипывая, – а еще два рубля ей-ей отдам, как заработаю. Он (кто был он, не знал и сам Веленчук) меня перед вашими глазами плутом сделал. Он – ехидная его мерзкая душа – у своего брата-солдата последнее из души взял; а я, пятнадцать лет служа...» К чести Михаила Дорофеича должно сказать, что он не взял с Веленчука недостающих двух рублей, хотя Веленчук через два месяца и приносил их.

Глава III

Кроме Веленчука, около костра грелись еще пять человек солдат моего взвода.

На лучшем месте, за ветром, на баклаге, сидел взводный фейерверкер Максимов и курил трубку. В позе, во взгляде и во всех движениях этого человека заметны были привычка повелевать и сознание собственного достоинства, не говоря уже о баклаге, на которой он сидел, составляющей на привале эмблему власти, и крытом нанкой полушубке.

Когда я подошел, он повернул голову ко мне, но глаза его оставались устремленными на огонь, и только гораздо после взгляд его, вслед за направлением головы, обратился на меня. Максимов был из однодворцев, имел деньги и в учебной бригаде получил класс и набрался учености. Он был ужасно богат и ужасно учен, как говорили солдаты. Я помню, как раз на практической навесной стрельбе с квадрантом он объяснял собравшимся вокруг него солдатам, что ватерпас *не что иное есть, как происходит, что атмосферическая ртуть свое движение имеет*. В сущности, Максимов был далеко не глуп и отлично знал свое дело, но у него была несчастная странность говорить иногда нарочно так, что не было никакой возможности понять его и что, я уверен, он сам не понимал своих слов. Особенно он любил слова «происходит» и «продолжать», и когда, бывало, скажет: «происходит» или «продолжая», то уже я вперед знаю, что из всего последующего я не пойму ничего. Солдаты же, напротив, сколько я мог заметить, любили слушать его «происходит» и подозревали в нем глубокий смысл, хотя так же, как и я, не понимали ни слова. Но непонимание это они относили только к своей глупости и тем более уважали Федора Максимыча. Одним словом, Максимов был начальствующий политичный.

Второй солдат, переобувавший около огня свои жилистые красные ноги, был Антонов, – тот самый бомбардир Антонов, который еще в 37-м году, втроем оставшись при одном орудии, без прикрытия, отстреливался от сильного неприятеля и с двумя пулями в ляжке продолжал идти около орудия и заряжать его. «Давно бы уж ему быть фейерверкером, коли бы не карахтер его», – говорили про него солдаты. И действительно, странный у него был характер: в трезвом виде не было человека покойнее, смиреннее и исправнее; когда же он запивал, становился совсем другим человеком: не признавал власти, дрался, буянил и делался никуда негодным солдатом. Не дальше как неделю тому назад он запил на масленице и, несмотря ни на какие угрозы, увещания и привязывания к орудию, пьянствовал и буянил до самого чистого понедельника. Весь пост же, несмотря на приказ по отряду всем людям есть скоромное, питался он одними сухарями и на первой неделе не брал даже положенной крышки водки. Впрочем, надобно было видеть эту невысокую, сбитую, как железо, фигуру, с короткими, выгнутыми ножками и глянцевиюто усатую рожей, когда он, бывало, под хмельком возьмет в жилистые руки балалайку и, небрежно поглядывая по сторонам, заиграет «барыню» или, с шинелью внакидку, на которой болтаются ордена, и заложив руки в карманы синих нанковых штанов, пройдет по улице, – надо было видеть выражение солдатской гордости и презрения ко всему несолдатскому, игравшее в это время на его физиономии, чтобы понять, каким образом не подраться в такие минуты с загрубившим или просто подвернувшемся денщиком, казаком, пехотным или переселенцем, вообще не артиллеристом, было для него совершенно невозможно. Он дрался и буянил не столько для собственного удовольствия, сколько для поддержания духа всего солдатства, которого он чувствовал себя представителем.

Третий солдат, с серьгой в ухе, щетинистыми усиками, птичьей рожицей и фарфоровой трубочкой в зубах, на корточках сидевший около костра, был ездовой Чикин. Милый человек Чикин, как его прозвали солдаты, был *забавник*. В трескучий ли мороз, по колено в грязи, два дня не евши, в походе, на смотре, на ученье, милый человек всегда и везде корчил гримасы, выделявал ногами коленца и отливал такие шутки, что весь взвод покатывался со смеху. На привале или в лагере вокруг Чикина всегда собирался кружок молодых солдат, с которыми он

или затевал «фильку»³⁰, или рассказывал сказки про хитрого солдата и английского милорда, или представлял татарина, немца, или просто делал свои замечания, от которых все помирали со смеху. Правда, что репутация его как забавника была уж так утверждена в батарее, что стоило ему только открыть рот и подмигнуть, чтобы произвести общий хохот; но, действительно, в нем много было истинно комического и неожиданного. Он в каждой вещи умел видеть что-то особенное, такое, что другим и в голову не приходило, и главное – способность эта во всем видеть смешное не уступала никаким испытаниям.

Четвертый солдат был молодой, невзрачный мальчишка, рекрут прошлогоднего пригона, в первый еще раз бывший в походе. Он стоял в самом дыму и так близко от огня, что, казалось, истертый полушубочек его сейчас загорится; но, несмотря на это, по его распахнутым полам, спокойной, самодовольной позе с выгнутыми икрами видно было, что он испытывал большое удовольствие.

И, наконец, пятый солдат, немного поодаль сидевший от костра и строгавший какую-то палочку, был дяденька Жданов. Жданов был старше всех солдат в батарее на службе, всех знал еще рекрутами, и все по старой привычке называли его дяденькой. Он, как говорили, никогда не пил, не курил, не играл в карты (даже в носки), не бранился дурным словом. Все свободное от службы время он занимался сапожным мастерством, по праздникам ходил в церковь, где было возможно, или ставил копеечную свечку перед образом и раскрывал Псалтырь, единственную книгу, по которой он умел читать. С солдатами он водился мало, – со старшими чином, хотя и младшими летами, он был холодно-почтителен, с равными, как не пьющий, он имел мало случаев сходить; но особенно он любил рекрутов и молодых солдат: им он всегда покровительствовал, читал им наставления и помогал часто. Все в батарее считали его капиталистом, потому что он имел рублей двадцать пять, которыми охотно ссужал солдата, который действительно нуждался. Тот самый Максимов, который теперь был фейерверкером, рассказывал мне, что когда десять лет тому назад он рекрутом пришел и старые пьющие солдаты пропили с ним деньги, которые у него были, Жданов, заметив его несчастное положение, призвал к себе, строго выговорил ему за его поведение, побил даже, прочел наставление, как в солдатстве жить нужно, и отпустил, дав ему рубаху, которой уж не было у Максимова, и полтину денег. «Он из меня человека сделал», – говорил про него всегда с уважением и благодарностью сам Максимов. Он же помог Веленчуку, которому он вообще покровительствовал с самого рекрутства, во время несчастья пропажи шинели и многим, многим другим во время своей двадцатипятилетней службы.

По службе нельзя было желать лучше знающего дело, храбрее и исправнее солдата, но он был слишком смирен и невиден, чтобы быть произведенным в фейерверкеры, хотя уже был пятнадцать лет бомбардиром. Одна радость и даже страсть Жданова были песни; особенно некоторые он очень любил и всегда собирал кружок песенников из молодых солдат и, хотя сам не умел петь, стоял с ними и, заложив руки в карманы полушубка и зажмурившись, движениями головы и скул выражал свое сочувствие. Не знаю, почему в этом равномерном движении скул под ушами, которое я замечал только у него одного, я почему-то находил чрезвычайно много выражения. Белая, как лунь, голова, нафабранные черные усы и загорелое морщинистое лицо придавали ему на первый взгляд выражение строгое и суровое; но, взглядевшись ближе в его большие, круглые глаза, особенно когда они улыбались (губами он никогда не смеялся), что-то необыкновенно кроткое, почти детское, вдруг поражало вас.

³⁰ Солдатская игра в карты (прим. Л.Н. Толстого).

Глава IV

– Эхма! Трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! – повторил Веленчук.

– А ты бы *сихарки* курил, милый человек! – заговорил Чикин, скривив рот и подмигивая. – Я так все *сихарки* дома курю, она слаще!

Разумеется, все покатались со смеху.

– То-то, трубку забыл, – перебил Максимов, не обращая внимания на общий хохот и начальнически-гордо выбивая трубку о ладонь левой руки. – Ты где там пропадал? А, Веленчук?

Веленчук полуоборотился к нему, поднял было руку к шапке, но потом опустил ее.

– Видно, со вчерашнего не проспался, что уж стоя засыпаешь. За это вашему брату спасибо не говорят.

– Разорви меня на сем месте, Федор Максимыч, коли у меня капля во рту была; а я и сам не знаю, что со мной сделалось, – отвечал Веленчук. – С какой радости напился! – проворчал он.

– То-то! а из-за вашего брата отвечаешь перед начальством своим, а вы этак продолжаете – вовсе безобразно, – заключил красноречивый Максимов уже более спокойным тоном.

– Ведь вот чудо-то, братцы мои, – продолжал Веленчук после минутного молчания, почесывая в затылке и не обращая ни к кому в особенности. – Право, чудо, братцы мои! Шестнадцать лет служу – такого со мной не бывало. Как сказали к расчету строиться, я собрался как следует – ничего не было, да вдруг у парке как *она* схватит меня... схватила, схватила, повалила меня наземь, да и все... И как заснул, сам не слышал, братцы мои! Должно, она самая спячка и есть, – заключил он.

– Ведь и то насилу я тебя разбудил, – сказал Антонов, натягивая сапог: – уж я тебя толкал, толкал... ровно чурбан какой!

– Вишь ты, – заметил Веленчук, – добро уж пьяный бы был...

– Так-то у нас дома баба была, – начал Чикин, – так с печи, почитай, два года не сходила. Стали ее будить раз, думали, что спит, а уж она мертвая лежит, – так тоже все на нее сон находил. Так-то, милый человек!

– А расскажи-ка, Чикин, как ты в отпуску тон задавал себе, – сказал Максимов, улыбаясь и поглядывая на меня, как будто говоря: «Не угодно ли тоже послушать глупого человека?»

– Какой тон, Федор Максимыч! – сказал Чикин, бросая искоса на меня беглый взгляд. – Известно, рассказывал, какой такой Капказ есть.

– Ну да, как же, как же! Ты не модничай... расскажи, как ты им *предводительствовал*?

– Известно, как *предводительствовал*: спрашивали, как мы живем, – начал Чикин скороговоркой, с видом человека, несколько раз рассказывавшего то же самое. – Я говорю, живем хорошо, милый человек; провиант сполна получаем, утро и вечер по чашке *щиколата* идет на *солдата*, а в обед идет господский *суп* из перловых *круп*, а замест водки *модера* полагается по крышке. Модера Дивирье, что без посуды, мол, сорок две!

– Важная модера! – громче других, заливаясь смехом, подхватил Веленчук. – Вот так модера!

– Ну, а про эзиятов как рассказывал? – продолжал допрашивать Максимов, когда общий смех утих несколько.

Чикин нагнулся к огню, достал палочкой уголек, наложил его на трубку и молча, как будто не замечая возбужденного в слушателях молчаливого любопытства, долго раскуривал свои корешки. Когда наконец он набрался достаточно дыму, сбросил уголек, сдвинул еще более назад свою шапочку и, подергиваясь и слегка улыбаясь, продолжал.

– Тоже спрашивают, какой, говорит, там, малый, черкес, говорит, или турка у вас на Кавказе, говорит, бьет? Я говорю: у нас черкес, милый человек, не один, а разные есть. Есть такие тавлинцы, что в каменных горах живут и камни замест хлеба едят. Те большие, говорю, ровно как колода добрая, по одному глазу во лбу, и шапки на них красные, вот так и горят, ровно как на тебе, милый человек! – прибавил он, обращаясь к молодому рекрутику, на котором действительно была уморительная шапочка с красным верхом.

Рекрутик при этом неожиданном обращении вдруг присел к земле, ударил себя по коленям и расхохотался и раскашлялся до того, что едва мог выговорить задыхающимся голосом: «Вот так тавлинцы!»

– А то еще, говорю, мумры есть, – продолжал Чикин, движением головы надвигая на лоб свою шапочку. – Те другие, двойнешки маленькие, вот такие. Все по парочкам, говорю, рука с рукой держатся и так-то бегают, говорю, швытко, что ты его на коне не догонишь. «Как же, говорит, малый, как же они, мумры-то, рука с рукой так и родятся, что ли?» – воображая передразнивать мужика, сказал он горловым басом. «Да, говорю, милый человек, он такой от природы. Ты им руки разорви, так кровь пойдет, все равно что китаец: шапку с него сними, она, кровь, пойдет». – «А кажи, малый, как они бьют-то?» – говорит. «Да так, говорю, поймают тебя, живот распорят, да кишки тебе на руку и мотают, и мотают. Они мотают, а ты смеешься; дотелева смеешься, что дух вон...»

– Ну что ж, и имели к тебе доверие, Чикин? – сказал Максимов, слегка улыбаясь, тогда как остальные помирали со смеху.

– И такой, право, народ чудной, Федор Максимыч: верют всему, ей-богу верют! А стал им про гору *Казбек* сказывать, что на ней все лето снег не тает, так вовсе на смех подняли, милый человек! Что ты, говорит, малый, фастаешь? Видано ли дело: большая гора, да на ней снег не будет таять. У нас, малый, в ростопель так какой бугор, и то прежде растает, а в лощине снег лежит. – Поди ты! – заключил Чикин, подмигивая.

Глава V

Светлый круг солнца, просвечивающий сквозь молочно-белый туман, уже поднялся довольно высоко: серо-лиловый горизонт постепенно расширялся и хотя гораздо дальше, но также резко ограничивался обманчивою белою стеною тумана.

Впереди нас, за срубленным лесом, открылась довольно большая поляна. По поляне со всех сторон расстилался где черный, где молочно-белый, где лиловый дым костров, и странными фигурами носились белые слои тумана. Далеко впереди изредка показывались группы верховых татар, и слышались нечастые выстрелы наших штуцеров, их винтовок и орудия.

«Это еще было не дело, а одна потеха-с», – как говорил добрый капитан Хлопов.

Командир девятой егерской роты, бывшей у нас в прикрытии, подошел к моим орудиям и, указывая на трех верховых татар, ехавших в это время под лесом, на расстоянии от нас более шестисот сажен, просил, по свойственной всем вообще пехотным офицерам любви к артиллерийской стрельбе, просил меня пустить по ним ядро или гранату.

– Видите, – говорил он, с доброй и убедительной улыбкой протягивая руку из-за моего плеча, – где два большие дерева, так впереди один на белой лошади и в черной черкеске, а вон сзади еще два. Видите? Нельзя ли их, пожалуйста...

– А вон еще трое едут, по-под лесом, – прибавил Антонов, отличавшийся удивительным глазом, подходя к нам и пряча за спину трубку, которую курил в это время, – еще передний винтовку из чехла вынул. Знатко видать, вашбородие!

– Вишь, выпалил, братцы мои! вон дымок забелелся, – сказал Веленчук в группе солдат, стоявших немного сзади нас.

– Должно, в нашу цепь, прохвост! – заметил другой.

– Вишь, их из-за лесу-то сколько высыпало, должно, место глядят – орудию поставить хотят, – добавил третий. – Гхранату кабы им туда в кучку пустить, то-то бы заплевали... – А как думаешь, как раз дотолева фатит, милый человек? – спросил Чикин.

– Пятьсот либо пятьсот двадцать сажен, больше не будет, – как будто говоря сам с собой, хладнокровно сказал Максимов, хотя видно было, что ему так же, как и другим, ужасно хотелось выпалить, – коли сорок пять линий из единорога дать, то в самый пункт попасть можно, то есть совершенно.

– Знаете, теперь коли в эту кучку направить, непременно в кого-нибудь попадете. Вот-вот теперь, как они съехались, пожалуйста, поскорей велите выстрелить, – продолжал упрашивать меня ротный командир.

– Прикажете навести орудие? – отрывистым басом вдруг спросил Антонов с видом какой-то угрюмой злобы.

Признаюсь, мне и самому этого очень хотелось, и я велел навести второе орудие.

Едва я успел сказать, как граната была распудрена, дослана, и Антонов, прильнув к станине и приставив к затыльнику свои два толстых пальца, уже командовал хобот вправо и влево.

– Чуть-чуть влево... самую малость вправо... еще, еще трошки... так, ладно, – сказал он, с гордым видом отходя от орудия.

Пехотный офицер, я, Максимов один за другим приложились к прицелу и все подали свои разнообразные мнения.

– Ей-богу, перенесет, – заметил Веленчук, пощелкивая языком, несмотря на то, что он только смотрел через плечо Антонова и поэтому не имел никакого основания предполагать это. – Е-е-ей-богу, перенесет, прямо в ту дерево попадет, братцы мои!

– Второе! – скомандовал я.

Прислуга расступилась. Антонов отбежал в сторону, чтобы видеть полет снаряда, трубка вспыхнула, и зазвенела медь. В то же мгновение нас обдало пороховым дымом, и из порази-

тельного гула выстрела отделялся металлический, жужжащий, с быстротою молнии удалявшийся звук полета, посреди всеобщего молчания замерший в отдалении.

Немного позади группы верховых показался белый дымок, татары расскались в разные стороны, и до нас долетел звук разрыва.

«Вот важно-то! Эк поскакали! Вишь, черти, не любят!» – слышались одобрения и смешки в рядах артиллерийских и пехотных солдат.

– Коли бы трошки ниже пустить, в самую его бы попало, – заметил Веленчук. – Говорил, в дереву попанет: оно и есть – взяло вправо.

Глава VI

Оставив солдат рассуждать о том, как татары ускакали, когда увидели гранату, и зачем они тут ездили, и много ли их еще в лесу есть, я отошел с ротным командиром за несколько шагов и сел под деревом, ожидая разогревавшихся битков, которые он предложил мне. Ротный командир Болхов был один из офицеров, называемых в полку *бонжурами*. Он имел состояние, служил прежде в гвардии и говорил по-французски. Но, несмотря на это, товарищи любили его. Он был довольно умен и имел достаточно такта, чтобы носить петербургский сюртук, есть хороший обед и говорить по-французски, не слишком оскорбляя общество офицеров. Поговорив о погоде, о военных действиях, об общих знакомых офицерах и убедившись по вопросам и ответам, по взгляду на вещи в удовлетворительности понятий один другого, мы невольно перешли к разговору более короткому. Притом же на Кавказе между встречающимися одного круга людьми хотя не высказанно, но весьма очевидно проявляется вопрос: зачем вы здесь? И на этот-то мой молчаливый вопрос, мне казалось, собеседник мой хотел ответить.

– Когда этот отряд кончится? – сказал он лениво. – Скучно!

– Мне не скучно, – сказал я, – ведь в штабе еще скучнее.

– О, в штабе в десять тысяч раз хуже, – сказал он со злостью. – Нет! когда все это совсем кончится?

– Что же вы хотите, чтоб кончились? – спросил я.

– Все, совсем!.. Что же, готовы битки, Николаев? – спросил он.

– Для чего же вы пошли служить на Кавказ, – сказал я, – коли Кавказ вам так не нравится?

– Знаете, для чего, – отвечал он с решительной откровенностью, – по преданию. В России ведь существует престранное предание про Кавказ: будто это какая-то обетованная земля для всякого рода несчастных людей.

– Да, это почти правда, – сказал я. – Большая часть из нас...

– Но что лучше всего, – перебил он меня, – что все мы, по преданию едущие на Кавказ, ужасно ошибаемся в своих расчетах, и решительно я не вижу, почему вследствие несчастной любви или расстройств дел скорее ехать служить на Кавказ, чем в Казань или в Калугу. Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками – все это страшное что-то, а в сущности, ничего в этом нету веселого. Ежели бы они знали, по крайней мере, что в девственных льдах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кавказ разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлисскую и т. д.

– Да, – сказал я, смеясь, – мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это испытывали ли вы когда-нибудь? Как читать стихи на языке, который плохо знаешь, воображаешь себе гораздо лучше, чем есть?..

– Не знаю, право, но ужасно не нравится мне этот Кавказ, – перебил он меня.

– Нет, Кавказ для меня и теперь хорош, но только иначе...

– Может быть, и хорош, – продолжал он с какою-то раздражительностью, – знаю только то, что я не хорош на Кавказе.

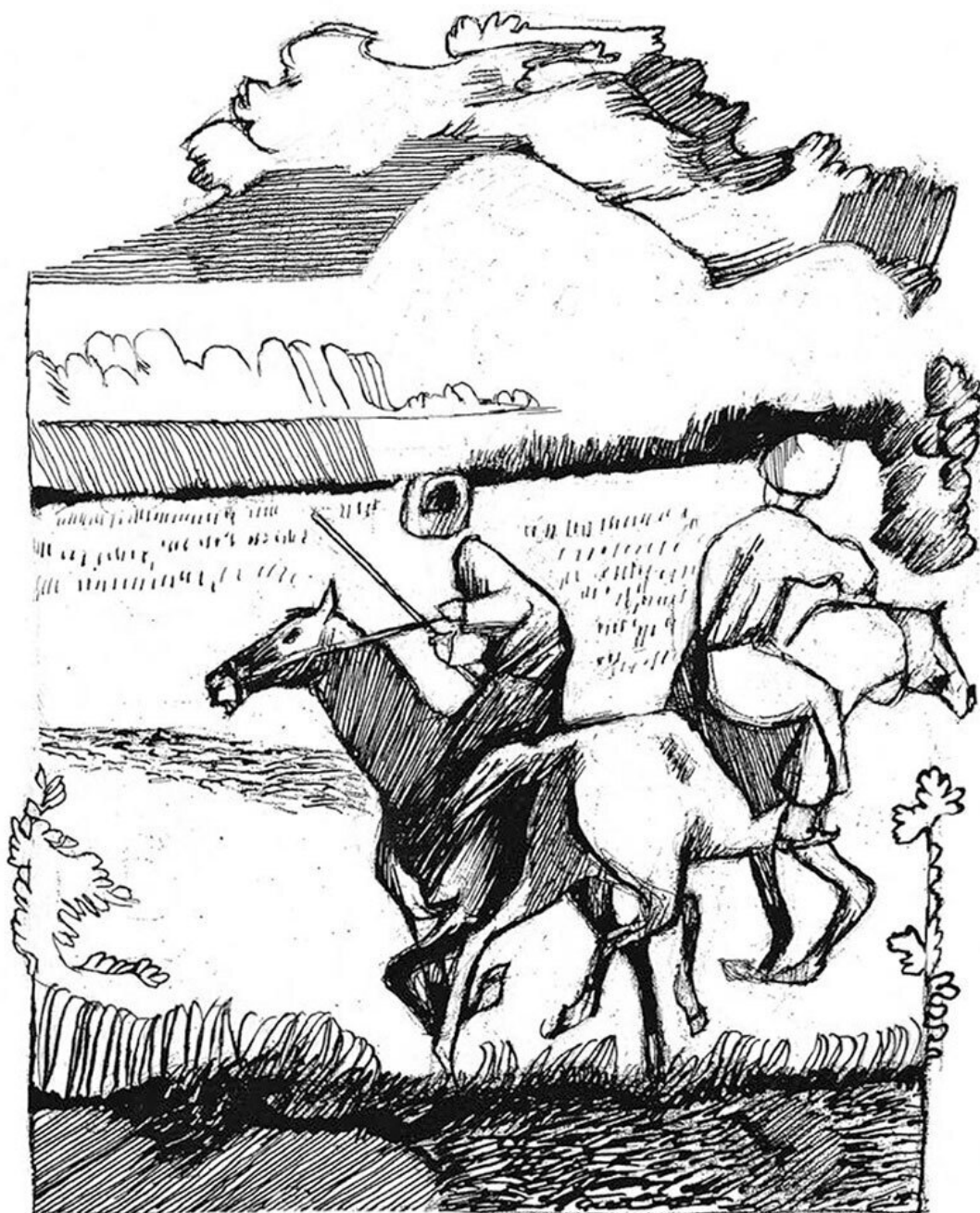
– Отчего же так? – сказал я, чтоб сказать что-нибудь.

– Оттого, что, во-первых, *он* обманул меня. Все то, от чего я, по преданию, поехал лечиться на Кавказ, все приехало со мною сюда, только с той разницей, что прежде все это было на большой лестнице, а теперь на маленькой, на грязенькой, на каждой ступеньке которой я нахожу миллионы маленьких тревог, гадостей, оскорблений; во-вторых, оттого, что я чувствую, как я с каждым днем морально падаю ниже и ниже, и главное – то, что чувствую себя неспособным к здешней службе: я не могу переносить опасности... Просто я не храбр... Он остановился и посмотрел на меня. Без шуток.

Хотя это непрошеное признание чрезвычайно удивило меня, я не противоречил, как, видимо, хотелось того моему собеседнику, но ожидал от него самого опровержения своих слов, как это всегда бывает в подобных случаях.

– Знаете, я в нынешний отряд в первый раз в деле, – продолжал он, – и вы не можете себе представить, что со мной вчера было. Когда фельдфебель принес приказание, что моя рота назначена в колонну, я побледнел, как полотно, и не мог говорить от волнения. А как я провел ночь, ежели бы вы знали! Если правда, что седеют от страха, то я бы должен быть совершенно белый нынче, потому что, верно, ни один приговоренный к смерти не протрадал в одну ночь столько, как я; даже и теперь, хотя мне и легче немного, чем ночью, но у меня здесь вот что идет, – прибавил он, вертя кулак перед своей грудью. – И что смешно, – продолжал он, – что здесь ужаснейшая драма разыгрывается, а сам ешь битки с луком и уверяешь, что очень весело... Вино есть, Николаев? – прибавил он, зевая.

– Это *он*, братцы мои! – послышался в это время встревоженный голос одного из солдат, и все глаза обратились на опушку дальнего леса.



Вдали увеличивалось и, уносясь по ветру, поднималось голубоватое облако дыма.

Когда я понял, что это был против нас выстрел неприятеля, все, что было на моих глазах в эту минуту, все вдруг приняло какой-то новый величественный характер. И козлы ружей, и дым костров, и голубое небо, и зеленые лафеты, и загорелое усатое лицо Николаева, – все это как будто говорило мне, что ядро, которое вылетело уже из дула и летит в это мгновение в пространстве, может быть, направлено прямо в мою грудь.

– Вы где брали вино? – лениво спросил я Болхова, между тем как в глубине души моей одинаково вятно говорили два голоса: один – Господи, прими дух мой с миром, другой –

надеюсь не нагнуться, а улыбаться в то время, как будет пролетать ядро, – и в то же мгновение над головой просвистело что-то ужасно неприятно и в двух шагах от нас шлепнулось ядро.

– Вот, если бы я был Наполеон или Фридрих, – сказал в это время Болхов, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мне, – я бы непременно сказал какую-нибудь любезность.

– Да вы и теперь сказали, – отвечал я, с трудом скрывая тревогу, произведенную во мне прошедшей опасностью.

– Да что ж, что сказал: никто не запишет.

– А я запишу.

– Да вы ежели и запишете, так в критику, как говорит Мищенко, – прибавил он улыбаясь.

– Тьфу ты, проклятый! – сказал в это время сзади нас Антонов, с досадой плюя в сторону. – Трошки по ногам не задела.

Все мое старанье казаться хладнокровными и все наши хитрые фразы показались мне вдруг невыносимо глупыми после этого простодушного восклицания.

Глава VII

Неприятель действительно поставил два орудия на том месте, где разъезжали татары, и каждые минут двадцать или тридцать по выстрелу в наших рубщиков. Мой взвод выдвинули вперед на поляну и приказали отвечать ему. В опушке леса показался дымок, слышались выстрел, свист, и ядро падало сзади или впереди нас. Снаряды неприятеля ложились счастливо, и потери не было.

Артиллеристы, как и всегда, вели себя превосходно, проворно заряжали, старательно наводили по показавшемуся дыму и спокойно шутили между собой. Пехотное прикрытие в молчаливом бездействии лежало около нас, дожидаясь своей очереди. Рубщики леса делали свое дело: топоры звучали по лесу быстрее и чаще; только в то время, как слышался свист снаряда, все вдруг замолкало, среди мертвой тишины раздавались не совсем спокойные голоса: «Сторонись, ребята!» и все глаза устремлялись на ядро, рикошетировавшее по кострам и срубленным сучьям.

Туман уже совершенно поднялся и, принимая формы облаков, постепенно исчезал в темно-голубой синеве неба; открывшееся солнце ярко светило и бросало веселые отблески на сталь штыков, медь орудий, оттаивающую землю и блестящие ины. В воздухе слышалась свежесть утреннего мороза вместе с теплом весеннего солнца; тысячи различных теней и цветов мешались в сухих листьях леса, и на торной гляцевитой дороге отчетливо виднелись следы шин и подковных шипов.

Между войсками движение становилось сильнее и заметнее. Со всех сторон показывались чаще и чаще голубоватые дымки выстрелов. Драгуны, с развевающимися флюгерами пик, выехали вперед; в пехотных ротах послышались песни, и обоз с дровами стал строиться в арьергард. К нашему взводу подъехал генерал и приказал готовиться к отступлению. Неприятель засел в кусты против нашего левого фланга и стал сильно беспокоить нас ружейным огнем. С левой стороны из лесу прожужжала пуля и ударила в лафет, потом другая, третья... Пехотное прикрытие, лежавшее около нас, шумно поднялось, взяло ружья и заняло цепь. Ружейные выстрелы усиливались, и пули стали летать чаще и чаще. Началось отступление и, следовательно, настоящее дело, как это всегда бывает на Кавказе.

По всему видно было, что артиллеристам не нравились пули, как прежде ядра – пехотным. Антонов принахмурился. Чикин передразнивал пули и подшучивал над ними; но видно было, что они ему не нравились. Про одну говорил он: «как торопится», другую называл «пчелкой», третью, которая, как-то медленно и жалобно визжа, пролетела над нами, назвал «сиротой», чем произвел общий хохот.

Рекрутик с непривычки при каждой пуле сгибал набок голову и вытягивал шею, что тоже заставляло смеяться солдатиков. «Что, знакомая, что ли, что кланяешься?» – говорили ему. И Веленчук, всегда чрезвычайно равнодушный к опасности, теперь был в тревожном состоянии: его, видимо, сердило то, что мы не стреляем картечью по тому направлению, откуда летали пули. Он несколько раз недовольным голосом повторил: «Что ж *он* нас даром-то бьет? Кабы туда орудию поворотить да картечью бы дунуть, так затих бы небось».

Действительно, пора было это сделать: я приказал выпустить последнюю гранату и зарядить картечью.

– Картечь! – крикнул Антонов лихо, в самом дыму подходя с банником к орудию, только что заряд был выпущен.

В это время недалеко сзади себя я услышал вдруг прекратившийся сухим ударом во что-то быстрый жужжащий звук пули. Сердце сжалось во мне. «Кажется, кого-то из наших задело», – подумал я, но вместе с тем боясь оглянуться под влиянием тяжелого предчувствия. Действительно, вслед за этим звуком послышалось тяжелое падение тела и «о-о-о-ой» – раздирающий

стон раненого. «Задело, братцы мои!» – проговорил с трудом голос, который я узнал. Это был Веленчук. Он лежал навзничь между передком и орудием. Сума, которую он нес, была отброшена в сторону. Лоб его был весь в крови, и по правому глазу и носу текла густая красная струя. Рана его была в животе, но в ней почти не было крови; лоб же он разбил о пень во время падения.

Все это я разобрал гораздо после; в первую минуту я видел только какую-то неясную массу и ужасно много, как мне казалось, крови.

Никто из солдат, зарядивших орудие, не сказал слова, только рекрутик пробормотал что-то вроде: «Вишь ты как, в кровь», – и Антонов, нахмурившись, крякнул сердито; но по всему заметно было, что мысль о смерти пробежала в душе каждого. Все с большей деятельностью принялись за дело. Орудие было заряжено в одно мгновение, и вожатый, принося картечь, шага на два обошел то место, на котором, продолжая стонать, лежал раненый.

Глава VIII

Каждый бывший в деле, верно, испытывал то странное, хотя и не логическое, но сильное чувство отвращения от того места, на котором был убит или ранен кто-нибудь. Этому чувству заметно поддались в первую минуту мои солдаты, когда нужно было поднять Веленчука и перенести его на подъехавшую повозку. Жданов сердито подошел к раненому, несмотря на усилившийся крик его, взял под мышки и поднял его. «Что стали? берись!» – крикнул он, и тотчас же раненого окружили человек десять, даже ненужных помощников. Но едва сдвинули его с места, как Веленчук начал кричать ужасно и рваться.

– Что кричишь, как заяц! – сказал Антонов грубо, удерживая его за ногу. – А не то бросим.

И раненый затих действительно, только изредка приговаривая: «Ох, смерть моя! О-ох, братцы мои!»

Когда же его положили на повозку, он даже перестал охать, и я слышал, что он что-то говорил с товарищами – должно быть, прощался – тихим, но внятным голосом.

В деле никто не любит смотреть на раненого, и я, инстинктивно торопясь удалиться от этого зрелища, приказал скорей везти его на перевязочный пункт и отошел к орудиям; но через несколько минут мне сказали, что Веленчук зовет меня, и я подошел к повозке.

На дне ее, ухватясь обеими руками за края, лежал раненый. Здоровое, широкое лицо его в несколько секунд совершенно изменилось: он как будто похудел и постарел несколькими годами, губы его были тонки, бледны и сжаты с видимым напряжением; торопливое и тупое выражение его взгляда заменил какой-то ясный, спокойный блеск, и на окровавленных лбу и носу уже лежали черты смерти.

Несмотря на то, что малейшее движение причиняло ему нестерпимые страдания, он просил снять с левой ноги чересок³¹ с деньгами.

Ужасно тяжелое чувство произвел во мне вид его голой, белой и здоровой ноги, когда с нее сняли сапог и развязывали черес.

– Тут три монеты и полтинник, – сказал он мне в то время, как я брал в руки черес, – уж вы их сберегёте.

Повозка было тронулась; но он остановил ее.

– Я поручику Сулимовскому шинель работал. О-они мне две монеты дали. На полторы я пуговиц купил, а полтина у меня в мешке с пуговицами лежит. Отдайте.

– Хорошо, хорошо, – сказал я, – выздоравливай, братец!

Он не отвечал мне, повозка тронулась, и он снова начал стонать и охать самым ужасным, раздирающим душу голосом. Как будто, окончив мирские дела, он не находил больше причин удерживаться и считал теперь позволительным себе это облегчение.

³¹ Черес – кошелек в виде пояска, который солдаты носят обыкновенно под коленом (прим. Л.Н. Толстого).

Глава IX

– Ты куда? Вернись! Куда ты идешь? – закричал я рекрутику, который, положив под мышку свой запасный пальник, с какой-то палочкой в руках прехладнокровно отправлялся за повозкой, повезшей раненого.

Но рекрутик только лениво оглянулся на меня, пробормотал что-то и пошел дальше, так что я должен был послать солдат, чтобы привести его. Он снял свою красную шапочку и, глупо улыбаясь, глядел на меня.

– Куда ты шел? – спросил я.

– В лагерь.

– Зачем?

– А как же – Веленчука-то ранили, – сказал он, опять улыбаясь.

– Так тебе-то что? Ты должен здесь оставаться.

Он с удивлением посмотрел на меня, потом хладнокровно повернулся, надел шапку и пошел к своему месту.

Дело вообще было счастливо: казаки, слышно было, сделали славную атаку и взяли три татарских тела; пехота запаслась дровами и потеряла всего человек шесть ранеными; в артиллерии выбыли из строя всего один Веленчук и две лошади. Зато вырубил леса версты на три и очистили место так, что его узнать нельзя было: вместо прежде видневшейся сплошной опушки леса открывалась огромная поляна, покрытая дымящимися кострами и двигавшимися к лагерю кавалерией и пехотой. Несмотря на то, что неприятель не переставал преследовать нас артиллерийским и ружейным огнем до самой речки с кладбищем, которую мы переходили утром, отступление сделано было счастливо. Уже я начинал мечтать о щах и бараньем боке с кашей, ожидавших меня в лагере, когда пришло известие, что генерал приказал построить на речке редут и оставить в нем до завтра третий батальон К. полка и взвод четырехбатарейной. Повозки с дровами и ранеными, казаки, артиллерия, пехота с ружьями и дровами на плечах – все с шумом и песнями прошли мимо нас. На всех лицах видны были одушевление и удовольствие, внушенные минувшей опасностью и надеждой на отдых. Только мы с третьим батальоном должны были ожидать этих приятных чувств еще до завтра.

Глава X

Покуда мы, артиллеристы, хлопотали около орудий: расставляли передки, ящики, разбирали коновязь, пехота уже составила ружья, разложила костры, построила из сучьев и кукурузной соломы балаганчики и варила кашу.

Начинало смеркаться. По небу ползли сине-беловатые тучи. Туман, превратившийся в мелкую, сырую мглу, мочил землю и солдатские шинели, горизонт суживался, и вся окрестность принимала мрачные тени. Сырость, которую я чувствовал сквозь сапоги, за шейей, неумолкаемое движение и говор, в которых я не принимал участия, липкая грязь, по которой раскатывались мои ноги, и пустой желудок наводили на меня самое тяжелое, неприятное расположение духа после дня физической и моральной усталости. Веленчук не выходил у меня из головы. Вся простая история его солдатской жизни неотвязчиво представлялась моему воображению.

Последние минуты его были так же ясны и спокойны, как и вся жизнь его. Он слишком жил честно и просто, чтобы простодушная вера его в ту будущую, небесную жизнь могла поколебаться в решительную минуту.

– Ваше здоровье, – сказал мне подошедший Николаев. – Пожалуйте к капитану, просят чай кушать.

Кое-как пробираясь между козлами и кострами, я вслед за Николаевым пошел к Болхову, с удовольствием мечтая о стакане горячего чаю и веселой беседе, которая бы разогнала мои мрачные мысли. «Что, нашел?» – слышался голос Болхова из кукурузного шалаша, в котором светился огонек.

– Привел, ваше благородие! – басом отвечал Николаев.

В балагане на сухой бурке сидел Болхов, расстегнувшись и без папахи. Подле него кипел самовар и стоял барабан с закуской. В землю был воткнул штык со свечкой. «Каково?» – с гордостью сказал он, оглядывая свое уютное хозяйство. Действительно, в балагане было так хорошо, что за чаем я совсем забыл про сырость, темноту и рану Веленчука. Мы разговорились про Москву, про предметы, не имеющие никакого отношения с войной и Кавказом.

После одной из тех минут молчания, которые прерывают иногда самые оживленные разговоры, Болхов с улыбкой посмотрел на меня.

– А я думаю, вам очень странным показался наш разговор утром? – сказал он.

– Нет. Отчего же? Мне только показалось, что вы слишком откровенны, а есть вещи, которые мы все знаем, но которых никогда говорить не надо.

– Отчего? Нет! Ежели бы была какая-нибудь возможность променять эту жизнь хоть на жизнь самую пошлую и бедную, только без опасностей и службы, я бы ни минуты не задумался.

– Отчего же вы не перейдете в Россию? – сказал я.

– Отчего? – повторил он. – О! Я давно уже об этом думал. Я не могу теперь вернуться в Россию до тех пор, пока не получу Анны и Владимира, Анны на шею и майора, как и предполагал, ехавши сюда.

– Отчего же, ежели вы чувствуете себя неспособным, как вы говорите, к здешней службе?

– Но когда я еще более чувствую себя неспособным к тому, чтобы вернуться в Россию тем, чем я поехал. Это тоже одно из преданий, существующих в России, которое утвердили Пассек, Слепцов и др., что на Кавказ стоит приехать, чтобы осыпаться наградами. И от нас все ожидают и требуют этого; а я вот два года здесь, в двух экспедициях был и ничего не получил. Но все-таки у меня столько самолюбия, что я не уеду отсюда ни за что до тех пор, пока не буду майором с Владимиром и Анной на шее. Я уж втянулся до того, что меня всего коробит, когда Гнилокишкину дадут награду, а мне нет. И потом, как я покажусь на глаза в России своему старосте, купцу Котельникову, которому я хлеб продаю, тетушке московской и всем

этим господам после двух лет на Кавказе без всякой награды? Правда, что я этих господ знать не хочу, и, верно, они тоже очень мало обо мне заботятся; но уж так устроен человек, что я их знать не хочу, а из-за них гублю лучшие года, все счастье жизни, всю будущность свою погублю.

Глава XI

В это время послышался снаружи голос батальонного командира: «С кем это вы, Николай Федорыч?»

Болхов назвал меня, и вслед за тем в балаган влезли три офицера: майор Кирсанов, адъютант его батальона и ротный командир Тросенко.

Кирсанов был невысокий, полный мужчина, с черными усиками, румяными щеками и масляными глазками. Глазки эти были самой замечательной чертой в его физиономии. Когда он смеялся, то от них оставались только две влажные звездочки, и звездочки эти вместе с натянутыми губами и вытянутой шеей принимали иногда престранное выражение бессмысленности. Кирсанов в полку вел и держал себя лучше всякого другого: подчиненные не бранили, а начальники уважали его, хотя общее мнение о нем было, что он очень недалек. Он знал службу, был исправен и усерден, всегда был при деньгах, имел коляску и повара и весьма натурально умел притворяться гордым.

– О чем это толкуете, Николай Федорович? – сказал он входя.

– Да вот о приятностях здешней службы.

Но в это время Кирсанов заметил меня, юнкера, и потому, чтобы дать почувствовать мне свое значение, как будто не слушая ответа Болхова и глядя на барабан, спросил:

– Что, устали, Николай Федорович?

– Нет, ведь мы... – начал было Болхов.

Но опять, должно быть, достоинство батальонного командира требовало перебить и сделать новый вопрос:

– А ведь славное дело было нынче?

Батальонный адъютант был молодой прапорщик, недавно произведенный из юнкеров, скромный и тихий мальчик, со стыдливым и добродушно-приятным лицом. Я видал его прежде у Болхова. Молодой человек часто приходил к нему, раскланивался, садился в уголок и по несколько часов молчал, делал папиросы, курил их, потом вставал, раскланивался и уходил. Это был тип бедного русского дворянского сына, выбравшего военную карьеру как одну возможную при своем образовании и ставящего выше всего в мире свое офицерское звание, – тип простодушный и милый, несмотря на смешные неотъемлемые принадлежности: кiset, халат, гитару и щеточку для усов, с которыми мы привыкли воображать его. В полку рассказывали про него, будто он хвастался тем, что он со своим денщиком справедлив, но строг, будто он говорил: «Я редко наказываю, но уж когда меня доведут до этого, то беда», и что когда пьяный денщик обокрал его совсем и стал даже ругать своего барина, будто он привел его на гауптвахту, велел приготовить все для наказания, но при виде приготовлений до того смутился, что мог только говорить: «Ну, вот видишь... ведь я могу...», и, совершенно растерявшись, убежал домой и с той поры боялся смотреть в глаза своему Чернову. Товарищи не давали ему покоя, дразнили его этим, и я несколько раз слышал, как простодушный мальчик отговаривался и, краснея до ушей, уверял, что это неправда, а совсем напротив.

Третье лицо, капитан Тросенко, был старый кавказец в полном значении этого слова, т. е. человек, для которого рота, которую он командовал, сделалась семейством, крепость, где был штаб, – родиной, а песенники – единственными удовольствиями жизни; человек, для которого все, что не было Кавказ, было достойно презрения, да и почти недостойно вероятия; все же, что было Кавказ, разделялось на две половины: нашу и не нашу; первую он любил, вторую ненавидел всеми силами своей души, и главное – он был человек закаленной, спокойной храбрости, редкой доброты в отношении к своим товарищам и подчиненным и отчаянной прямоты и даже дерзости в отношении к ненавистным для него почему-то адъютантам и бонжурам. Входя в балаган, он чуть не пробил головой крыши, потом вдруг опустился и сел на землю.

– Ну, что? – сказал он и, вдруг заметив мое незнакомое для него лицо, остановился, вперив в меня мутный, пристальный взгляд.

– Так о чем это вы беседовали? – спросил майор, вынимая часы и глядя на них, хотя, я твердо уверен, ему совсем не нужно было делать этого.

– Да вот спрашивал меня, зачем я служу здесь.

– Разумеется, Николай Федорович хочет здесь отличиться и потом восвояси.

– Ну, а вы скажите, Абрам Ильич, зачем вы служите на Кавказе?

– Я потому, знаете, что, во-первых, мы все обязаны по своему долгу служить. Что? – прибавил он, хотя все молчали. – Вчера я получил письмо из России, Николай Федорович, – продолжал он, видимо, желая переменить разговор, – мне пишут, что... такие вопросы странные делают.

– Какие же вопросы? – спросил Болхов.

Он засмеялся.

– Право, странные вопросы... Мне пишут, что может ли быть ревность без любви... Что? – спросил он, оглядываясь на всех нас.

– Вот как! – сказал, улыбаясь, Болхов.

– Да, знаете, в России хорошо, – продолжал он, как будто фразы его весьма естественно вытекали одна из другой. – Когда я в пятьдесят втором году был в Тамбове, то меня принимали везде как флигель-адъютанта какого-нибудь. Поверите ли, на балу у губернатора, как я вошел, так знаете... очень хорошо принимали. Сама губернаторша, знаете, со мной разговаривала и спрашивала про Кавказ, и все так... что я не знал... Мою золотую шашку смотрят как редкость какую-нибудь, спрашивают: за что шашку получил, за что – Анну, за что – Владимира, и я им так рассказывал... Что? Вот этим-то Кавказ хорош, Николай Федорович! – продолжал он, не дожидаясь ответа. – Там смотрят на нашего брата кавказца очень хорошо. Молодой человек, знаете, штаб-офицер с Анной и Владимиром – это много значит в России... Что?

– Вы и прихвастнули-таки, я думаю, Абрам Ильич? – сказал Болхов.

– Хи-хи! – засмеялся он своим глупым смехом. – Знаете, это нужно. Да и поел я славно эти два месяца!

– А что, хорошо там, в России-то? – сказал Тросенко, спрашивая про Россию, как про какой-то Китай или Японию.

– Да-с, уж что мы там шампанского выпили в два месяца, так это страх!

– Да что вы! Вы, верно, лимонад пили. Вот я так уж бы треснул там, что знали бы, как кавказцы пьют. Недаром бы слава прошла. Я бы показал, как пьют... А, Болхов? – прибавил он.

– Да ведь ты, дядя, уж за десять лет на Кавказе, – сказал Болхов. – А помнишь, что Ермолов сказал; а Абрам Ильич только шесть...

– Какой десять! скоро шестнадцать.

– Вели же, Болхов, *шолфею* дать. Сыро, бррр!.. А? – прибавил он улыбаясь, – выпьем, майор!

Но майор был недоволен и первым обращением к нему старого капитана, теперь же, видимо, съезжился и искал убежища в собственном величии. Он запел что-то и снова посмотрел на часы.

– Вот я так уж никогда туда не поеду, – продолжил Тросенко, не обращая внимания на насупившегося майора, – я и ходить и говорить-то по – русскому отвык. Скажут: что за чудо такое приехало? Сказано, Азия! Так, Николай Федорович? Да и что мне в России! Все равно, тут когда-нибудь подстрелят. Спросят: где Тросенко? Подстрелили. Что вы тогда с восьмой ротой сделаете... а? – прибавил он, обращаясь постоянно к майору.

– Послать дежурного по батальону! – крикнул Кирсанов, не отвечая капитану, хотя, я опять уверен был, ему не нужно было отдавать никаких приказаний.

– А вы, я думаю, теперь рады, молодой человек, что на двойном окладе? – сказал майор после нескольких минут молчания батальонному адъютанту.

– Как же-с, очень-с.

– Я нахожу, что наше жалованье теперь очень большое, Николай Федорович, – продолжал он, – молодому человеку можно жить весьма прилично и даже позволить себе роскошь маленькую.

– Нет, право, Абрам Ильич, – робко сказал адъютант, – хоть оно и двойное, а только что так... ведь лошадь надо иметь...

– Что вы мне говорите, молодой человек! Я сам прапорщиком был и знаю. Поверьте, с порядком жить очень можно. Да вот вам, сочтите, – прибавил он, загибая мизинец левой руки.

– Все вперед жалованье забираем – вот вам и счет, – сказал Тросенко, выпивая рюмку водки.

– Ну, да ведь на это что же вы хотите... Что?

В это время в отверстие балагана всунулась белая голова со сплюснутым носом, и резкий голос с немецким выговором сказал:

– Вы здесь, Абрам Ильич? А дежурный ищет вас.

– Заходите, Крафт! – сказал Болхов.

Длинная фигура в сюртуке генерального штаба пролезла в двери и с особенным азартом принялась пожимать всем руки.

– А, милый капитан! и вы тут? – сказал он, обращаясь к Тросенке.

Новый гость, несмотря на темноту, пролез до него и, к чрезвычайному, как мне показалось, удивлению и неудовольствию капитана, поцеловал его в губы.

«Это немец, который хочет быть хорошим товарищем», – подумал я.

Глава XII

Предположение мое тотчас же подтвердилось. Капитан Крафт попросил водки, назвав ее *горилкой*, и ужасно крякнул и закинул голову, выпивая рюмку.

– Что, господа, поколесовали мы нынче по равнинам Чечни... – начал было он, но, увидав дежурного офицера, тотчас замолчал, предоставив майору отдавать свои приказания.

– Что, вы обошли цепь?

– Обошел-с.

– А секреты высланы?

– Высланы-с.

– Так вы передайте приказание ротным командирам, чтобы были как можно осторожнее.

– Слушаю-с.

Майор прищурил глаза и глубокомысленно задумался.

– Да скажите, что люди могут теперь варить кашу.

– Они уж варят.

– Хорошо. Можете идти-с.

– Ну-с, так вот мы считали, что нужно офицеру, – продолжал майор со снисходительной улыбкой обращаясь к нам. – Давайте считать.

– Нужно вам один мундир и брюки... так-с?

– Так-с.

– Это, положим, пятьдесят рублей на два года, стало быть, в год двадцать пять рублей на одежду; потом на еду, каждый день по два абаза... так-с? – Так-с; это даже много.

– Ну, да я кладу. Ну, на лошадь с седлом для ремонта 30 рублей – вот и все. Выходит всего 25 да 120 да 30 = 175. Все вам остается еще на роскошь, на чай и на сахар, на табак – рублей двадцать. Извольте видеть?... Правда, Николай Федорович?

– Нет-с. Позвольте, Абрам Ильич! – робко сказал адъютант. – Ничего-с на чай и сахар не останется. Вы кладете одну пару на два года, а тут по походам панталон не наготовишься, а сапоги? я ведь почти каждый месяц пару истреплю-с. Потом-с белье-с, рубашки, полотенца, подвертки: все ведь это нужно купить-с. А как сочтешь, ничего не останется-с. Это ей-богу-с, Абрам Ильич!

– Да, подвертки прекрасно носить, – сказал вдруг Крафт после минутного молчания, с особенной любовью произнося слово подвертки, – знаете, просто, по-русски.

– Я вам скажу, – заметил Тросенко, – как ни считай, все выходит, что нашему брату зубы на полку класть приходится, а на деле выходит, что все живем, и чай пьем, и табак курим, и водку пьем. Послужишь с мое, – продолжал он, обращаясь к прапорщику: – тоже выучишься жить. Ведь знаете, господа, как он с денщиками обращается?

И Тросенко, помирая со смеху, рассказал нам всю историю прапорщика со своим денщиком, хотя мы все ее тысячу раз слышали.

– Да ты что, брат, таким розаном смотришь? – продолжал он, обращаясь к прапорщику, который краснел, потел и улыбался, так что жалко было смотреть на него. – Ничего, брат, и я такой же был, как ты, а теперь, видишь, молодец стал. Пусти-ка сюда какого молодчика из России – видали мы их, – так у него тут и спазмы, и ревматизмы какие-то сделались бы; а я вот, сел тут – мне здесь и дом, и постель, и все. Видишь...

При этом он выпил еще рюмку водки.

– А? – прибавил он, пристально глядя в глаза Крафту.

– Вот это я уважаю! Вот это истинно старый кавказец! Позвольте вашу руку.

И Крафт растолкал всех нас, продрался к Тросенке и, схватив его руку, потряс ее с особенным чувством.

– Да, мы можем сказать, что испытали здесь всего, – продолжал он. – В сорок пятом году... ведь вы изволили быть там, капитан? Помните ночь с двенадцатого на тринадцатое, когда по коленки в грязи ночевали, а на другой день пошли на завалы? Я тогда был при главнокомандующем, и мы пятнадцать завалов взяли в один день. Помните, капитан?

Тросенко сделал головой знак согласия и, выдвинув вперед нижнюю губу, зажмурился.

– Извольте видеть... – начал Крафт чрезвычайно одушевленно, делая руками неуместные жесты и обращаясь к майору.

Но майор, должно быть, неоднократно слышавший уже этот рассказ, вдруг сделал такие мутные, тупые глаза, глядя на своего собеседника, что Крафт отвернулся от него и обратился ко мне и Болхову, попеременно глядя то на того, то на другого.

На Тросенку же он ни разу не взглянул во время всего своего рассказа.

– Вот извольте видеть, как вышли мы утром, главнокомандующий и говорит мне: «Крафт! возьми эти завалы». Знаете, наша военная служба, без рассуждений, руку к козырьку: «Слушаю, ваше сиятельство!» – и пошел.

Только, как мы подошли к первому завалу, я обернулся и говорю солдатам: «Ребята! не робеть! В оба смотреть! Кто отстанет, своей рукой изрублю». С русским солдатом, знаете, надо просто. Только вдруг граната... я смотрю, один солдат, другой солдат, третий солдат, потом пули... взжиль! взжиль! взжиль!.. Я говорю: «Вперед, ребята, за мной!» Только мы подошли, знаете, посмотрим, я вижу тут, как это... знаете... как это называется? – и рассказчик замахал руками, отыскивая слово.

– Обрыв, – подсказал Болхов.

– Нет... Ах, как это? Боже мой! Ну, как это?.. обрыв, – сказал он скоро. – Только ружья наперевес... ура! та-ра-та-та-та! Неприятеля ни души. Знаете, все удивились. Только хорошо: идем мы дальше – второй завал. Это совсем другое дело. У нас уж ретивое закипело, знаете. Только подошли мы, посмотрим, я вижу, второй завал – нельзя идти. Тут... как это, ну, как называется этакая... Ах! как это...

– Опять обрыв, – подсказал я.

– Совсем нет, – продолжал он с сердцем, – не обрыв, а... ну, вот, как это называется, – и он сделал рукой какой-то нелепый жест. – Ах, боже мой! Как это...

Он, видимо, так мучился, что невольно хотелось подсказать ему.

– Река, может, – сказал Болхов.

– Нет, просто обрыв. Только мы туда, тут, поверите ли, такой огонь, ад...

В это время за балаганом кто-то спросил меня. Это был Максимов. А так как за прослушанием разнообразной истории двух завалов мне оставалось еще тринадцать, я рад был придраться к этому случаю, чтобы пойти к своему взводу. Тросенко вышел вместе со мной. «Все врет, – сказал он мне, когда мы на несколько шагов отошли от балагана, – его и не было вовсе на завалах», – и Тросенко так добродушно расхохотался, что и мне смешно стало.

Глава XIII

Уже была темная ночь, и только костры тускло освещали лагерь, когда я, окончив уборку, подошел к своим солдатам. Большой пень, тлея, лежал на углях. Вокруг него сидели только трое: Антонов, поворачивавший в огне котелок, в котором варился *рябка*³², Жданов, хворостинкой задумчиво разгребавший золу, и Чикин с своей вечно нераскуренной трубочкой. Остальные уже расположились на отдых – кто под ящиками, кто в сене, кто около костров. При слабом свете углей я различал знакомые мне спины, ноги, головы; в числе последних был и рекрутик, который, придвинувшись к самому огню, казалось, спал уже. Антонов дал мне место. Я сел подле него и закурил папироску. Запах тумана и дыма от сырых дров, распространяясь по всему воздуху, ел глаза, и та же сырая мгла сыпалась с мрачного неба.

Подле нас слышались мерное храпенье, треск сучьев в огне, легкий говор и изредка бряцанье ружей пехоты. Везде кругом пылали костры, освещая в небольшом круге вокруг себя черные тени солдат. Около ближайших костров я различал на освещенных местах фигуры голых солдат, над самым пламенем махающих своими рубахами. Еще много людей не спало, двигалось и говорило на пространстве пятнадцати квадратных сажень; но мрачная, глухая ночь давала свой особенный таинственный тон всему этому движению, как будто каждый чувствовал эту мрачную тишину и боялся нарушить ее спокойную гармонию. Когда я заговорил, я почувствовал, что мой голос звучит иначе; на лицах всех солдат, сидевших около огня, я читал то же настроение. Я думал, что до моего прихода они говорили о раненом товарище; но ничуть не бывало. Чикин рассказывал про приемку вещей в Тифлисе и про тамошних школьников.

Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желанья отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Я видел солдата, раненного в ногу, в первую минуту жалевшего только о пробитом новом полушубке; ездового, вылезавшего из-под убитой под ним лошади и расстегивающего подпругу, чтобы снять седло. Кто не помнит случая при осаде Гергебиля, когда в лаборатории загорелась трубка начиненной бомбы и фейерверкер двум солдатам велел взять бомбу и бежать бросить ее в обрыв, и как солдаты не бросили ее в ближайшем месте около палатки полковника, стоявшей над обрывом, а понесли дальше, чтобы не разбудить господ, которые почивали в палатке, и оба были разорваны на части. Помню я еще, в отряде 1852 года один из молодых солдат к чему-то сказал во время дела, что уж, кажется, взводу не выйти отсюда, и как весь взвод со злобой напустился на него за такие дурные слова, которые они и повторять не хотели. Вот теперь, когда у каждого в душе должна была быть мысль о Веленчуке и когда всякую секунду мог быть по нас залп подкрававшихся татар, все слушали бойкий рассказ Чикина, и никто не упоминал ни о нынешнем деле, ни о предстоящей опасности, ни о раненом, как будто это было бог знает как давно или вовсе никогда не было. Но мне показалось только, что лица их были несколько пасмурнее обыкновенного; они не слишком внимательно слушали рассказ Чикина, и даже Чикин чувствовал, что его не слушают, но говорил уж так себе.

³² Солдатское кушанье – моченые сухари с салом (прим. Л.Н. Толстого).

К костру подошел Максимов и сел подле меня. Чикин дал ему место, замолчал и снова начал сосать свою трубочку.

– Пехотные в лагерь за водкой посылали, – сказал Максимов после довольно долгого молчания, – сейчас воротились. – Он плюнул в огонь. – Унтер-офицер сказывал, нашего видали.

– Что, жив еще? – спросил Антонов, поворачивая котелок.

– Нет, помер.

Рекрутик вдруг поднял над огнем свою маленькую голову в красной шапочке, с минуту пристально посмотрел на Максимова и на меня, потом быстро опустил ее и закутался шинелью.

– Вишь, смерть-то недаром к нему поутру приходила, как я будил его в парке, – сказал Антонов.

– Пустое! – сказал Жданов, поворачивая тлеющий пень, – и все замолчали.

Среди общей тишины сзади нас послышался выстрел в лагере. Барабанщики у нас приняли его и заиграли зорю. Когда затихла последняя дробь, Жданов первый встал и снял шапку. Мы все последовали его примеру.

Среди глубокой тишины ночи раздался стройный хор мужественных голосов:

«Отче наш, иже еси на небесех! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго».

– Так-то у нас в сорок пятом году один в это место контужен был, – сказал Антонов, когда мы надели шапки и сели опять около огня, – так мы его два дня на орудии возили... помнишь Шевченку, Жданов?.. да так и оставили там под деревом.

В это время пехотный солдат, с огромными бакенбардами и усами, с ружьем и сумкой подошел к нашему костру.

– Позвольте, землячки, огоньку, закурить трубочку, – сказал он.

– Что ж, закуривайте: огня достаточно, – заметил Чикин.

– Это, верно, про Дарги, земляк, сказываете? – обратился пехотный к Антонову.

– Про сорок пятый год, про Дарги, – ответил Антонов.

Пехотный покачал головой, зажмурился и присел около нас на корточки.

– Да уж, было там всего, – заметил он.

– Отчего ж бросили? – спросил я Антонова.

– От живота крепко мучился. Как стоим, бывало, ничего, а как тронемся, то криком кричит. Богом просил, чтоб оставили, да все жалко было. Ну, а как он стал нас уж крепко донимать, трех людей у нас убил в орудии, офицера убил, да и от батареи своей отбились мы как-то. Беда! совсем не думали орудия увезти. Грязь же была.

– Пуще всего, что под Индейской горой грязно было, – заметил какой-то солдат.

– Да, вот там-то ему пуще хуже стало. Подумали мы с Аношенкой – старый фейерверкер был, – что ж в самом деле, живому ему не быть, а Богом просит – оставим, мол, его здесь. Так и порешили. Дерево росла там ветлеватая такая. Взяли мы сухариков моченых ему положили, – у Жданова были, – прислонили его к дереву к этому, надели на него рубаху чистую, простились как следует, да так и оставили.

– И важный солдат был?

– Ничего солдат был, – заметил Жданов.

– И что с ним случилось, бог его знает, – продолжал Антонов. – Много там всякого нашего брата осталось.

– В Даргах-то? – сказал пехотный, вставая и расковыривая трубку и снова зажмурившись и покачивая головой. – Уж было там всего.

И он отошел от нас.

– А что, много еще у нас в батарее солдат, которые в Дарго были? – спросил я.

– Да что? вот Жданов, я, Пацан, что в отпуску теперь, да еще человек шесть есть. Больше не будет.

– А что, Пацан-то наш загулял в отпуску? – сказал Чикин, спуская ноги и укладываясь головой на бревно. – Почитай год скоро, что его нет.

– А что, ты ходил в годовой? – спросил я у Жданова.

– Нет, не ходил, – отвечал он неохотно.

– Ведь хорошо идти, – сказал Антонов, – от богатого дома, али когда сам в силах работать, так и идти лестно, и тебе дома рады будут.

– А то что идти, когда от двух братьев! – продолжал Жданов. – Самим только бы прокормиться, а не нашего брата солдата кормить. Подмога плохая, как уж двадцать пять лет прослужил. Да и живы ли, кто ее знает.

– А разве ты не писал? – спросил я.

– Как не писать! Два письма послал, да все в ответ не присылают. Али померли, али так не посылают, что, значит, сами в бедности живут: так где тут!

– А давно ты писал?

– Пришедши с Даргов, писал последнее письмо... Да ты «Березушку» спел бы, – сказал Жданов Антонову, который в это время, облокотясь на колени, мурлыкал какую-то песню.

Антонов запел «Березушку».

– Эта что ни на есть самая любимая песня дяденьки Жданова, – сказал мне шопотом Чикин, дернув меня за шинель. – Другой раз, как заиграет ее Филипп Антоныч, так он ажно плачет.

Жданов сидел сначала совершенно неподвижно, с глазами, устремленными на тлевшие уголья, и лицо его, освещенное красноватым светом, казалось чрезвычайно мрачным; потом скулы его под ушами стали двигаться все быстрее и быстрее, и, наконец, он встал и, разостлав шинель, лег в тени сзади костра. Или он ворочался и кряхтел, укладываясь спать, или же смерть Веленчука и эта печальная погода так настроили меня, но мне действительно показалось, что он плачет.

Низ пня, превратившийся в уголь, изредка вспыхивая, освещал фигуру Антонова с его седыми усами, красной рожей и орденами на накинутаой шинели, чьи-нибудь сапоги, голову или спину. Сверху сыпалась та же печальная мгла, в воздухе слышался тот же запах сырости и дыма, вокруг видны были те же светлые точки потухавших костров, и слышны были среди общей тишины звуки заунывной песни Антонова; а когда она замолкала на мгновение, звуки слабого ночного движения лагеря – храпения, бряцания ружей часовых и тихого говора вторили ей.

– Вторая смена! Макатюк и Жданов! – крикнул Максимов.

Антонов перестал петь, Жданов встал, вздохнул, перешагнул через бревно и побрел к орудиям.

Севастопольские рассказы

Севастополь в декабре 1854 года

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет – все черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая стклянка.

На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи: где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится Богу; где высокая тяжелая *маджара* на верблюдах со скрипом протаскилась на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена... Вы подходите к пристани – особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов: дрова, мясо, туры, мука, железо и т. п. – кучей лежат около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики, наполненные всякого рода народом – солдатами, моряками, купцами, женщинами, – причаливают и отчаливают от пристани.

– На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте, – предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди – старый матрос в верблюжем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию мола и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырьки, поднимаемые веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе.

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникнуло в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах.

– Ваше благородие! прямо под Кистентина³³ держите, – скажет вам старик матрос, оборотясь назад, чтобы поверить направление, которое вы даете лодке, – вправо руля.

– А на нем пушки-то еще все, – заметит беловолосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

– А то как же: он новый, на нем Корнилов жил, – заметит старик, тоже взглядывая на корабль.

³³ Корабль «Константин» (прим. Л.Н. Толстого).

– Вишь ты, где разорвало! – скажет мальчик после долгого молчания, взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомб.

– Это *он* с новой батареи нынче палит, – прибавит старик, равнодушно поплеывая на руку. – Ну, навались, Мишка, баркас перегоним. – И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то кули и неровно гребут неловкие солдаты, и пристает между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.



На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат: *сбитень горячий*, и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядра, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров; немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные козлы; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками; кой-где проедут казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронте, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки, – везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но взгляните ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурашского солдатика, который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было – поить лошадей или таскать орудия – так же спокойно, самоуверенно и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками дожидającychся на крыльце бывшего собрания, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает через улицу.

Да! вам непременно предстоит разочарование, если вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости, – ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о героизме защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и по виду и звукам с Северной стороны. Но прежде чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде севастопольским собранием и на крыльце которого стоят солдаты с носилками, – вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища.

Вы входите в большую залу собрания. Только что вы открыли дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжелораненых больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы, – это дурное чувство; идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто пришли *смотреть* на страдалцев, не стыдитесь подойти и поговорить с ними: несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите посредине постелей и ищете лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать.

– Ты куда ранен? – спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто переносит их.

– В ногу, – отвечает солдат; но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена. – Слава богу теперь, – прибавляет он, – на выписку хочу.

– А давно ты уже ранен?

– Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие!

– Что же, болит у тебя теперь?

– Нет, теперь не болит ничего; только как будто в икре ноет, когда непогода, а то ничего.

– Как же ты это был ранен?

– На пятом бастионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить, этаким манером, к другой амбразуре, как *он* ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет.

– Неужели больно не было в эту первую минуту?

– Ничего; только как горячим чем меня пхнули в ногу.

– Ну, а потом?

– И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, не *думать ничего*: как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше оттого, что думает человек.

В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье и повязанная черным платком; она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как, бывши ранен, остановил носилки с тем, чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили с ним и пожаловали ему двадцать пять рублей и как он сказал им, что он опять хочет на бастион с тем, чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может. Говоря все это одним духом, женщина эта смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом.

– Это хозяйка моя, ваше благородие! – замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит: «Уж вы ее извините. Известно, бабье дело – глупые слова говорить».

Вы начинаете понимать защитников Севастополя; вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову, – и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством.

– Ну, дай бог тебе поскорее поправиться, – говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти.

Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закачены кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас.

– Что он, без памяти? – спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами и ласково, как на родного, смотрит на вас.

– Нет, еще слышит, да уж очень плохо, – прибавляет она шепотом. – Я его нынче чаем поила – что ж, хоть и чужой, все надо жалость иметь – так уж не пил почти.

– Как ты себя чувствуешь? – спрашиваете вы его.

Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас.

– У сердце гхорить.

Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет: она вылушена в плече. Он сидит бодро, он поправился, но по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни.

С другой стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячечный румянец.

– Это нашу матроску пятого числа в ногу задело бомбой, – скажет вам ваша путеводительница, – она мужу на бастион обедать носила.

– Что ж, отрезали?

– Выше колена отрезали.

Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет, не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, – увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти...

Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдете на бастионы...

«Что значат смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями?» Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим.

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на прежние мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки – весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте.



Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внутренней жизнью часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров. Купцы, женщины в шляпках и платочках, щеголеватые офицеры – все говорит о твердости духа, самоуверенности, безопасности жителей.

Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров: там уже, верно, идут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело двадцать четвертого, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ.

– Черт возьми, как нынче у нас плохо! – говорит басом белобрысенький безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе.

– Где у нас? – спрашивает его другой.

– На четвертом бастионе, – отвечает молоденький офицер, и вы непременно с большим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: «На четвертом бастионе». Его слишком большая развязность, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшиеся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бретерским настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности; но все-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на четвертом бастионе от бомб и пуль: ничуть не бывало! плохо оттого, что грязно. «Пройти на батарею нельзя», – скажет он, показывая на сапоги, выше икр покрытые грязью. «А у меня нынче лучшего комендора убили, прямо в лоб влепило», – скажет другой. «Кого это? Митюхина?» – «Нет... Да что, дадут ли мне телятины? Вот каналы! – прибавит он трактирному слуге. – Не Митюхина, а Абросимова. Молодец такой – в шести вылазках был».

На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «бордо», сидят два пехотных офицера: один, молодой, с красным воротником и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому, старому, с черным воротником и без звездочек, про альминское дело. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играет во всем этом, слишком все страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России: вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвертый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: «Я иду на четвертый бастион», – непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: «Тебя бы поставить на четвертый бастион»; когда встречают носилки и спрашивают: «Откуда?» – большей частью отвечают: «С четвертого бастиона». Вообще же существуют два совершенно различных мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т. д.

В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться: туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце; какая-то печальная изморось сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели...

Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытанными всякое горе и нужду ветеранами и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров; изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах.

Проходя дальше по улице и опустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин, камней, досок, глины, бревен; впереди себя на крутой горе видите какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвертый бастион... Здесь народу встречается еще меньше, женщин совсем не видно, солдаты идут скоро, по дороге попадают капли крови, и непременно встретите тут

четырёх солдат с носилками и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите: «Куда ранен?» – носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут: в ногу или в руку, ежели он ранен легко, или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы и он уже умер или тяжело ранен.

Недалекий свист ядра или бомбы, в то самое время как вы станете подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы вдруг поймете, и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слышали в городе. Какое-нибудь тихо-отрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении; собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдения: у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас, – вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались в гору, справа и слева вас начинают жужжать штуцерные пули, и вы, может быть, призадумаетесь, не идти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с дорогой; но траншея эта наполнена такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более, что вы видите, *все идут по дороге*. Пройдя шагов двести, вы входите в изрытое грязное пространство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребями, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Все это кажется вам нагроможденным без всякой цели, связи и порядка. Где на батарее сидит кучка матросов, где посредине площади, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик, с ружьем переходящий через батарею и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи. Но везде, со всех сторон и во всех местах, видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря, и все это заглопленное в жидкой, вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль – жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна, – слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным.

«Так вот он, четвертый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» – думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не четвертый бастион. Это Язоновский редут – место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвертый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах. Пройдя еще шагов триста, вы снова выходите на батарею – на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудиями на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек пять матросов, играющих в карты под бруствером, и морского офицера, который, заметив в вас нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам свое хозяйство и все, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свертывает папироску из желтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой, так спокойно, без малейшей аффектации говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно спрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам – но только ежели вы его расспросите – про бомбардирование пятого числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать, и из

всей прислуги осталось восемь человек, и как все-таки на другое утро, шестого, он *палил*³⁴ из всех орудий; расскажет вам, как пятого попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек; покажет вам из амбразуры батареи и траншеи неприятельские, которые не дальше здесь, как в тридцати-сорока сажнях. Одного я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразуры, чтобы посмотреть неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, который так близко от вас и на котором вспыхивают белые дымки, этот-то белый вал и есть неприятель – *они*, как говорят солдаты и матросы.

Даже очень может быть, что морской офицер, из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного. «Послать комендора и прислугу к пушке», – и человек четырнадцать матросов живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Вглядитесь в лица, в осанку и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обу-тых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского, – простоты и упрямства.

Вдруг ужаснейший, потрясающий не одни ушные органы, но все существо ваше гул поражает вас так, что вы вздрагиваете всем телом. Вслед за тем вы слышите удаляющийся свист снаряда, и густой пороховой дым застилает вас, платформу и черные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть, может быть, – это чувство злобы, мщенья врагу, которое таится в душе каждого. «В самую *амбразуру* попало; кажись, убило двух... вон понесли», – услышите вы радостные восклицания. «А вот он рассерчает: сейчас пустит сюда», – скажет кто-нибудь; и действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию, дым; часовой, стоящий на бруствере, крикнет: «Пу-у-шка!» И вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит вокруг себя брызги грязи и камни. Батарейный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудия, неприятель тоже станет отвечать нам, и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит: «Пушка!» – и вы услышите тот же звук и удар, те же брызги, или закричит: «Маркела!»³⁵ – и вы услышите равномерное, довольно приятное и такое, с которым с трудом соединяется мысль об ужасном, посвистывание бомбы, услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание, потом увидите черный шар, удар о землю, осязательный, звенящий разрыв бомбы. Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни, и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и вместе страха. В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непременно придет в голову, что снаряд этот убьет вас; но чувство самолюбия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который режет вам сердце. Но зато, когда снаряд пролетел, не задев вас, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо приятное чувство, но только на мгновение, овладевает вами, так что вы находите какую-то особенную прелесть в опасности, в этой игре жизнью и смертью; вам хочется, чтобы еще и еще поближе упали около вас ядро или бомба. Но вот еще часовой прокричал своим громким, густым голосом: «Маркела!», еще посвистыванье, удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражает стон человека. Вы подходите к раненому, который, в крови и грязи, имеет какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с носилками. У матроса вырвана часть груди. В первые минуты на набрызганном грязью лице его видны один испуг и какое-то притворное преждевременное выражение страдания, свойственное человеку в таком положении;

³⁴ Моряки все говорят палить, а не стрелять (прим. Л.Н. Толстого).

³⁵ Мортира (прим. Л.Н. Толстого).

но в то время как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой, невысказанной мысли: глаза горят ярче, зубы сжимаются, голова с усилием поднимается выше и в то время как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!» – еще хочет сказать что-то, и видно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только еще раз: «Простите, братцы!» В это время товарищ-матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно, размахивая руками, возвращается к своему оружию. «Это вот каждый день этак человек семь или восемь», – говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свертывая папиросу из желтой бумаги...

Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра, – идете с спокойным, возвысившимся духом. Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, – это убеждение в невозможности поколебать где бы то ни было силу русского народа, и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитро сплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так мало напряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они все могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди непрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, – любовь к родине. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю, – о временах, когда этот герой, достойный Древней Греции, Корнилов, объезжая войска, говорил: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя», – и наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: «Умрем! ура!» – только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...

Уже вечерет. Солнце пред самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им.

Севастополь в мае 1855 года

Глава I

Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов, в траншеи и из траншей на бастионы и ангел смерти не переставал парить над ними.

Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи – успокоиться в объятиях смерти. Сколько розовых гробов и полотняных покровов! А все те же звуки раздаются с бастионов, все так же с невольным трепетом и страхом смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на желтоватую изрытую землю бастионов Севастополя, на черные, движущиеся по ним фигуры наших матросов и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки; все так же в трубу рассматривает с вышки телеграфа штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов, их батареи, палатки, колонны, движущиеся по Зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях, и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей с еще более разнородными желаниями к этому роковому месту. А вопрос, не решенный дипломатами, все еще не решается порохом и кровью.

Глава II

В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам. Светлое весеннее солнце взошло с утра над английскими работами, перешло на бастионы, потом на город, на Николаевскую казарму и, одинаково радостно светя для всех, теперь спускалось к далекому синему морю, которое, мерно колыхаясь, светило серебряным блеском.



Высокий, немного сутуловатый пехотный офицер, натягивая на руку не совсем белую, но опрятную перчатку, вышел из калитки одного из маленьких матросских домиков, настроенных на левой стороне Морской улицы, и, задумчиво глядя себе под ноги, направился в гору к бульвару. Выражение некрасивого лица этого офицера не изобличало больших умственных способностей, но простодушие, рассудительность, честность и склонность к порядочности. Он был дурно сложен, не совсем ловок и как будто стыдлив в движениях. На нем была мало поношенная фуражка, тонкая, немного странного лилового цвета шинель, из-под борта которой виднелась золотая цепочка часов, панталоны со штрипками и чистые, блестящие опойковые

сапоги. Он должен был быть или немец, ежели бы не изобличали черты лица его чисто русского происхождения, или адъютант, или квартирмейстер полковой (но тогда бы у него были шпоры), или офицер, на время кампании перешедший из кавалерии, а может, и из гвардии. Он действительно был офицер, перешедший из кавалерии, и в настоящую минуту, поднимаясь к бульвару, думал о письме, которое сейчас получил от бывшего товарища, теперь отставного, помещика Т. губернии, и жены его, бледной и голубоглазой Наташи, своей большой приятельницы. Он вспомнил одно место письма, в котором товарищ пишет:

«Когда приносят нам *Инвалид*, то *Пупка* (так отставной улан называл жену свою) бросается опростеть в переднюю, хватает газету и бежит с ней на эс в *беседку*, в *гостиную* (в которой, помнишь, как славно мы проводили с тобой зимние вечера, когда полк стоял у нас в городе), и с таким жаром читает *ваши* геройские подвиги, что ты себе представить не можешь. Она часто про тебя говорит: «Вот Михайлов, – говорит она, – так это *душка человек*. Я готова расцеловать его, когда увижу. Он *сражается на бастионах* и непременно получит Георгиевский крест, и про него в газетах напишут...» – и т. д., и т. д., так что я решительно начинаю ревновать к тебе». В другом месте он пишет: «До нас газеты доходят ужасно поздно, а хотя изустных новостей и много, не всем можно верить. Например, знакомые тебе *барышни с музыкой* рассказывали вчера, что уж будто Наполеон пойман нашими казаками и отослан в Петербург, но ты понимаешь, как много я этому верю. Рассказывал же нам один приезжий из Петербурга (он у министра по особым поручениям, премилый человек, и теперь, как в городе никого нет, такая для нас *рисурс*, что ты себе представить не можешь...), так он говорит наверно, что наши заняли Евпаторию, *так что французам нет уже сообщения с Балаклавой*, и что у нас при этом убито двести человек, а у французов до пятнадцати тысяч. Жена была в таком восторге по этому случаю, что *кутила* целую ночь, и говорит, что ты, наверно, по ее предчувствию, был в этом деле и отличился...»

Несмотря на те слова и выражения, которые я нарочно отметил курсивом, и на весь тон письма, штабс-капитан Михайлов с невыразимо грустным наслаждением вспомнил о своем губернском бледном друге и как он сживал, бывало, с ним по вечерам в беседке и говорил о *чувстве*, вспомнил о добром товарище-улане, как он сердился и ремизился, когда они, бывало, в кабинете составляли пульку по копейке, как жена смеялась над ним; вспомнил о дружбе к себе этих людей (может быть, ему казалось, что было что-то больше со стороны бледного друга); все эти лица с своей обстановкой мелькнули в его воображении в удивительно-сладком, отрадно-розовом свете, и он, улыбаясь своим воспоминаниям, дотронулся рукою до кармана, в котором лежало это *милое* для него письмо.

От воспоминаний штабс-капитан Михайлов невольно перешел к мечтам и надеждам. «И каково будет удивление и радость Наташи, – думал он, шагая по узенькому переулочку, – когда она вдруг прочтет в *Инвалиде* описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия! Капитана я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да и еще, верно, много перебыют нашего брата в эту кампанию. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк... подполковник... Анну на шею... полковник...» – и он был уже генералом, удостоивающим посещения Наташу, вдову товарища, который, по его мечтам, умрет к этому времени, когда звуки бульварной музыки яснее долетели до слуха, толпы народа кинулись ему в глаза, и он очутился на бульваре прежним пехотным штабс-капитаном.

Глава III

Он подошел сначала к павильону, подле которого стояли музыканты, которым вместо попитров другие солдаты того же полка, раскрыв, держали ноты и около которых, больше смотря, чем слушая, составили кружок писаря, юнкера, няньки с детьми. Кругом павильона стояли, сидели и ходили большею частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шинелях. По большой аллее бульвара ходили всяких сортов офицеры и всяких сортов женщины, изредка в шляпках, большей частью в платочках (были и без платочков и без шляпок), но ни одной не было старой, а замечательно, что все молодые. Внизу по тенистым пахучим аллеям белых акаций ходили и сидели уединенные группы.

Никто особенно рад не был, встретив на бульваре штабс-капитана Михайлова, исключая, может быть, его полка капитана Обжогова и капитана Сусликова, которые с горячностью пожали ему руку; но первый был в верблюжьих штанах, без перчаток, в обтрепанной шинели и с таким красным, вспотевшим лицом, а второй кричал так громко и развязно, что совестно было ходить с ними, особенно перед офицерами в белых перчатках (из которых с одним – адъютантом – штабс-капитан Михайлов кланялся, а с другим – штаб-офицером – мог бы кланяться, потому что два раза встречал его у общего знакомого). Притом же, что веселого ему было гулять с этими господами, Обжоговым и Сусликовым, когда он и без того по шести раз на день встречал их и пожимал им руки. Не для этого же он пришел *на музыку*.

Ему бы хотелось подойти к адъютанту, с которым он кланялся, и поговорить с этими господами совсем не для того, чтобы капитаны Обжогов и Сусликов и поручик Паштецкий и другие видели, что он говорит с ними, но просто для того, что они приятные люди, притом знают все новости – порассказали бы...

Но отчего же штабс-капитан Михайлов боится и не решается подойти к ним? «Что, ежели они вдруг мне не поклонятся, – думает он, – или поклонятся и будут продолжать говорить между собою, как будто меня нет, или вовсе уйдут от меня, и я там останусь один между *аристократами*?» Слово *аристократы* (в смысле высшего, отборного круга, в каком бы то ни было сословии) получило у нас в России, где бы, кажется, вовсе не должно было быть его, с некоторого времени большую популярность и проникло во все края и во все слои общества, куда проникло только тщеславие (а в какие условия времени и обстоятельств не проникает эта жалкая склонность?), – между купцами, между чиновниками, писарями, офицерами, в Саратов, в Мамадыши, в Винницы, везде, где есть люди. А так как в осажденном городе Севастополе людей много, следовательно, и тщеславия много, то есть и *аристократы*, несмотря на то, что ежеминутно висит смерть над головой каждого *аристократа* и *неаристократа*.

Для капитана Обжогова штабс-капитан Михайлов аристократ, для штабс-капитана Михайлова адъютант Калугин аристократ, потому что он адъютант и на «ты» с другим адъютантом. Для адъютанта Калугина граф Нордов аристократ, потому что он флигель-адъютант.

Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде, даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего между прежними людьми не слышно было об этой страсти, как об оспе или холере? Отчего в наш век есть только три рода людей: одних – принимающих начало тщеславия как факт необходимо существующий, поэтому справедливый, и свободно подчиняющихся ему; других – принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих – бессознательно, рабски действующих под его влиянием? Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу, про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть снобов и тщеславия?

Штабс-капитан Михайлов два раза в нерешительности прошел мимо кружка *своих аристократов*, в третий раз сделал усилие над собой и подошел к ним. Кружок этот составляли

четыре офицера: адъютант Калугин, знакомый Михайлова, адъютант князь Гальцин, бывший даже немножко *аристократом* для самого Калугина, подполковник Нефердов, один из так называемых ста двадцати двух светских людей (поступивших на службу в эту кампанию из отставки), и ротмистр Праскухин, тоже один из этих *ста двадцати двух*. К счастью Михайлова, Калугин был в прекрасном расположении духа (генерал только что поговорил с ним весьма доверенно, и князь Гальцин, приехав из Петербурга, остановился у него): он счел не унижительным подать руку штабс-капитану Михайлову, чего не решился, однако, сделать Праскухин, весьма часто встречавшийся на бастионе с Михайловым, неоднократно пивший его вино и водку и даже должный ему по преферансу двенадцать рублей с полтиной. Не зная еще хорошенько князя Гальцина, ему не хотелось изобличить перед ним свое знакомство с простым пехотным штабс-капитаном. Он слегка поклонился ему.

– Что, капитан, – сказал Калугин, – когда опять на бастиончик? Помните, как мы с вами встретились на Шварцевом редуте – жарко было, а?

– Да, жарко, – сказал Михайлов, вспоминая о том, как он в ту ночь, пробираясь по траншее на бастион, встретил Калугина, который шел таким молодцом, бодро побрякивая саблей.

– Мне, по-настоящему, приходится завтра идти; но у нас болен, – продолжал Михайлов, – один офицер, так...

Он хотел рассказать, что черед был не его, но так как командир восьмой роты был нездоров, а в роте оставался прапорщик только, то он счел своей обязанностью предложить себя на место поручика Непшисецкого и потому шел нынче на бастион. Калугин не дослушал его.

– А я чувствую, что на днях что-нибудь будет, – сказал он князю Гальцину.

– А что, не будет ли нынче чего-нибудь? – робко спросил Михайлов, поглядывая то на Калугина, то на Гальцина.

Никто не отвечал ему. Князь Гальцин только сморщился как-то, пустил глаза мимо его фуражки и, помолчав немного, сказал:

– Славная девочка эта в красном платочке. Вы ее не знаете, капитан?

– Это около моей квартиры, дочь одного матроса, – отвечал штабс-капитан.

– Пойдемте, посмотрим ее хорошенько.

И князь Гальцин взял под руку с одной стороны Калугина, с другой – штабс-капитана, вперед уверенный, что это не может не доставить последнему большого удовольствия, что действительно было справедливо.

Штабс-капитан был суеверен и считал большим грехом перед делом заниматься женщинами, но в этом случае он притворился развратником, чему, видимо, не верили князь Гальцин и Калугин и что чрезвычайно удивляло девицу в красном платочке, которая не раз замечала, как штабс-капитан краснел, проходя мимо ее окошка. Праскухин шел сзади и все толкал за руку князя Гальцина, делая разные замечания на французском языке; но так как вчетвером нельзя было идти по дорожке, он принужден был идти один и только на втором круге взял под руку подошедшего и заговорившего с ним известного храброго морского офицера Сервягина, желавшего тоже присоединиться к кружку *аристократов*. И известный храбрец с радостью просунул свою мускулистую, честную руку за локоть всем и самому Сервягину хорошо известному за не слишком *хорошего* человека Праскухину. Но когда Праскухин, объясняя князю Гальцину свое знакомство с *этим* моряком, шепнул ему, что это был известный храбрец, князь Гальцин, бывший вчера на четвертом бастионе и видевший от себя в двадцати шагах лопнувшую бомбу, считая себя не меньшим храбрецом, чем этот господин, и предполагая, что весьма много репутаций приобретается задаром, не обратил на Сервягина никакого внимания.

Штабс-капитану Михайлову так приятно было гулять в этом обществе, что он забыл про *милое* письмо из Т. и про мрачные мысли, осаждавшие его при предстоящем отправлении на бастион. Он пробыл с ними до тех пор, пока они не заговорили исключительно между собой, избегая его взглядов, давая тем знать, что он может идти, и, наконец, совсем ушли от него.

Но штабс-капитан все-таки был доволен и, проходя мимо юнкера барона Песта, который был особенно горд и самонадеян со вчерашней ночи, которую он в первый раз провел в блиндаже пятого бастиона, и считал себя вследствие этого героем, он несколько не огорчился подозрительно-высокомерным выражением, с которым юнкер вытянулся и снял перед ним фуражку.

Глава IV

Но едва штабс-капитан перешагнул порог своей квартиры, как совсем другие мысли пошли ему в голову. Он увидел свою маленькую комнатку с земляным неровным полом и кривыми окнами, залепленными бумагой, свою старую кровать с прибитым над ней ковром, на котором изображена была амазонка и висели два тульских пистолета, грязную, с ситцевым одеялом постель юнкера, который жил с ним; увидел своего Никиту, который с взбудораженными сальными волосами, почесываясь, встал с полу; увидел свою старую шинель, личные сапоги и узелок, из которого торчали конец сыра и горлышко портерной бутылки с водкой, приготовленные для него на бастион, и вдруг вспомнил, что ему нынче на целую ночь идти с ротой в ложементы.

«Наверное, мне быть убитым нынче, – думал штабс-капитан, – я чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшисецкий? Очень может быть, что и вовсе не болен, а тут из-за него убьют человека, непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то, верно, представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал, что позвольте мне идти, ежели поручик Непшисецкий болен. Ежели не выйдет майора, то уж Владимира наверно. Ведь я уж тринадцатый раз иду на бастион. Ох, тринадцать! скверное число. Непременно убьют, чувствую, что убьют; но надо же было кому-нибудь идти, нельзя с прапорщиком роте идти. А что-нибудь бы случилось, ведь это честь полка, честь армии от этого зависит. *Мой долг* был идти... да, святой долг. А есть предчувствие». Штабс-капитан забывал, что подобное предчувствие в более или менее сильной степени приходило ему не в первый раз, как нужно было идти на бастион, и не знал, что то же, в более или менее сильной степени, предчувствие испытывает всякий, кто идет в дело. Успокоив себя этим понятием долга, которое у штабс-капитана было особенно развито и сильно, он сел к столу и стал писать прощальное письмо отцу. Через десять минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами и, мысленно читая все молитвы, которые знал, стал одеваться. Пьяный и грубый слуга лениво подал ему новый сюртук (старый, который обыкновенно надевал штабс-капитан, идя на бастион, не был починен).

– Отчего не починен сюртук? Тебе только бы все спать, этакой! – сердито сказал Михайлов.

– Чего спать! – проворчал Никита. – День-деньской бегаешь, как собака: умаешься небось, – а тут не засни еще!

– Ты опять пьян, я вижу.

– Не на ваши деньги напился, что попрекаете?

– Молчи, болван! – крикнул штабс-капитан, готовый ударить человека, еще прежде расстроенный, а теперь окончательно выведенный из терпения и огорченный грубостью Никиты, которого он любил, баловал даже и с которым жил уже двенадцать лет.

– Болван! Болван! – повторил слуга. – И что ругаетесь болваном, сударь? Ведь теперь время какое? Нехорошо ругать.

Михайлов вспомнил, куда он идет, и ему стыдно стало.

– Ведь ты хоть кого выведешь из терпения, Никита, – сказал он кротким голосом. – Письмо это к батюшке на столе оставь, так и не трогай, – прибавил он, краснея.

– Слушаю-с, – сказал Никита, расчувствовавшийся под влиянием вина, которое он выпил, как говорил «на свои деньги», и с видимым желанием заплакать, хлопая глазами.

Когда же на крыльце штабс-капитан сказал: «Прощай, Никита!», то Никита вдруг разразился принужденными рыданиями и бросился целовать руки своего барина. «Прощайте, барин!» – всхлипывая, говорил он. Старуха матроска, стоявшая на крыльце, как женщина, не могла не присоединиться тоже к этой чувствительной сцене, начала утирать глаза грязным рукавом и приговаривать что-то о том, что уж на что господа, и те какие муки принимают, и что она, бедный человек, вдовой осталась, и рассказала в сотый раз пьяному Никите о своем горе: как ее мужа убили еще в первую *бандировку* и как ее домишко весь разбили (тот, в котором она жила, принадлежал не ей) и т. д. По уходе барина Никита закурил трубку, попросил хозяйскую девочку сходить за водкой и весьма скоро перестал плакать, а, напротив, побранился со старухой за какую-то ведерку, которую она ему будто бы раздавила.

«А может быть, только ранят, – рассуждал сам с собою штабс-капитан, уже сумерками подходя с ротой к бастиону. – Но куда? как? сюда или сюда? – думал он, мысленно указывая на живот и на грудь. – Вот ежели бы сюда (он думал о верхней части ноги) да кругом бы обошла. Ну, а как сюда, да осколком – кончено!»

Штабс-капитан по траншеям благополучно дошел до ложементов, расставил с саперным офицером, уже в совершенной темноте, людей на работу и сел в ямочку под бруствером. Стрельба была малая; только изредка вспыхивали то у нас, то у *него* молнии, и светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном звездном небе. Но все бомбы ложились далеко сзади и справа ложемента, в котором в ямочке сидел штабс-капитан. Он выпил водки, закурил сыром, закурил папироску и, помолвившись Богу, хотел заснуть немного.

Глава V

Князь Гальцин, подполковник Нефердов и Праскухин, которого никто не звал, с которым никто не говорил, но который не отставал от них, – все с бульвара пошли пить чай к Калугину.

– Ну так ты мне не досказал про Ваську Менделя, – говорил Калугин, сняв шинель, сидя около окна на мягком, покойном кресле и расстегивая воротник чистой крахмальной голландской рубашки, – как же он женился?

– Умора, братец! *Je vous dis, il y avait un temps ou on ne parlait que de fa a Petersbourg*³⁶, – сказал, смеясь, князь Гальцин, вскакивая от фортепьян, у которых он сидел, и садясь на окно подле Калугина. – Просто умора. Уж я все это знаю подробно...

И он весело, умно и бойко стал рассказывать какую-то любовную историю, которую мы пропустим потому, что она для нас неинтересна. Но замечательно то, что не только князь Гальцин, но и все эти господа, расположившись здесь кто на окне, кто задравши ноги, кто за фортепьянами, казались совсем другими людьми, чем на бульваре: не было этой смешной надутости, высокомерности, которые они выказывали пехотным офицерам; здесь они были между своими в натуре, и особенно Калугин и князь Гальцин, очень милыми, веселыми и добрыми ребятами. Разговор шел о петербургских сослуживцах и знакомых.

– Что Масловский?

– Который? лейб-улан или конногвардеец?

– Я их обоих знаю. Конногвардеец при мне мальчишка был, только что из школы вышел.

Что старший – ротмистр?

– О, уж давно.

– Что, все возится со своей цыганкой?

– Нет, бросил... – и т. д. в этом роде.

³⁶ Я вам говорю, что одно время только об этом и говорили в Петербурге (*франц.*).

Потом князь Гальцин сел к фортепьяно и славно спел цыганскую песенку. Праскухин, хотя никто не просил его, стал вторить, и так хорошо, что его уж просили вторить, и так хорошо, что его уж просили вторить, чем он был очень доволен.

Человек вошел с чаем со сливками и крендельками на серебряном подносе.

– Подай князю, – сказал Калугин.

– А ведь странно подумать, – сказал Гальцин, взяв стакан и отходя к окну, – что мы здесь в осажденном городе: *фортаплясы*, чай со сливками, квартира такая, что я, право, желал бы такую иметь в Петербурге.

– Да уж ежели бы еще этого не было, – сказал всем недовольный старый подполковник, – просто было бы невыносимо это постоянное ожидание чего-то... Видеть, как каждый день бьют, бьют – и все нет конца, ежели при этом бы жить в грязи и не было бы удобств.

– А как же наши пехотные офицеры, – сказал Калугин, – которые живут на бастионах с солдатами, в блиндаже и едят солдатский борщ? Как им-то?

– Вот этого я не понимаю и, признаюсь, не могу верить, – сказал Гальцин, – чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры. Этак, знаешь, *cette belle bravoure de gentilhomme*³⁷, – не может быть.

– Да они и не понимают этой храбрости, – сказал Праскухин.

– Ну что ты говоришь пустяки, – сердито перебил Калугин, – уж я видел их здесь больше тебя и всегда и везде скажу, что наши пехотные офицеры хоть, правда, во вшах и по десять дней белья не переменяют, а это герои, удивительные люди.

В это время в комнату вошел пехотный офицер.

– Я... мне приказано... я могу ли явиться к ген... к его превосходительству от генерала N? – спросил он застенчиво, кланаясь.

Калугин встал, но, не отвечая на поклон офицера, с оскорбительной учтивостью и натянутой официальной улыбкой спросил офицера, не угодно ли *им* подождать, и, не попросив его сесть, не обращая на него больше внимания, повернулся к Гальцину и заговорил по-французски, так что бедный офицер, оставшись посредине комнаты, решительно не знал, что делать с своей персоной.

– По крайне нужному делу-с, – сказал офицер после минутного молчания.

– А! так пожалуйста, – сказал Калугин, надевая шинель и провожая его к двери.

– *Eh bien, messieurs, je crois que cela chauffera cette nuit*³⁸, – сказал Калугин, выходя от генерала.

– А? что? что? вылазка? – стали спрашивать все.

– Уж не знаю – сами увидите, – отвечал Калугин с таинственной улыбкой.

– И мой командир на бастионе, стало быть, и мне надо идти, – сказал Праскухин, надевая саблю.

Но никто не отвечал ему: он сам должен был знать, идти ли ему или нет.

Праскухин и Нефердов вышли, чтоб отправиться к своим местам. «Прощайте, господа». – «До свиданья, господа! Еще нынче ночью увидимся», – прокричал Калугин из окошка, когда Праскухин и Нефердов, нагнувшись на луки казачьих седел, прорысили по дороге. Топот казачьих лошадей скоро стих в темной улице.

– *Non, dites moi, estce qu'il y aura véritablement quelque chose cette nuit*?³⁹ – сказал Гальцин, лежа с Калугиным на окошке и глядя на бомбы, которые поднимались над бастионами.

– Тебе я могу рассказать, видишь ли... ведь ты был на бастионах? (Гальцин сделал знак согласия, хотя он был только раз на четвертом бастионе.) Так против нашего люнета была

³⁷ этой прекрасной храбрости дворянина (*франц.*).

³⁸ Ну, господа, нынче ночью, кажется, будет жарко (*франц.*).

³⁹ Нет, скажите: правда, нынче ночью что-нибудь будет? (*франц.*)

траншея, – и Калугин, как человек неспециальный, хотя и считавший свои военные суждения весьма верными, начал, немного запутанно и перевирая фортификационные выражения, рассказывать положение наших и неприятельских работ и план предполагавшегося дела.

– Однако начинают попукивать около ложементов. Ого! Это наша или *его*? вон лопнула, – говорили они, лежа на окне, глядя на огненные линии бомб, скрещивающиеся в воздухе, на молнии выстрелов, на мгновение освещавшие темно-синее небо, и белый дым пороха, и прислушиваясь к звукам все усиливающейся и усиливающейся стрельбы.

– *Quel charmant coup d'oeil!*⁴⁰ а? – сказал Калугин, обращая внимание своего гостя на это действительно красивое зрелище. – Знаешь, не различишь звезды от бомбы иногда.

– Да, я сейчас думал, что это звезда, а она опустилась... вот лопнула. А эта большая звезда – как ее зовут? – точно как бомба.

– Знаешь, я до того привык к этим бомбам, что, я уверен, в России в звездную ночь мне будет казаться, что это все бомбы: так привыкнешь.

– Однако не пойти ли мне на эту вылазку? – сказал князь Гальцин после минутного молчания.

– Полно, братец! и не думай, да я тебя и не пушу, – отвечал Калугин. – Еще успеешь, братец!

– Серьезно? Так думаешь, что не надо ходить? а? В это время в том направлении, по которому смотрели эти господа, за артиллерийским гулом послышалась ужасная трескотня ружей и тысячи маленьких огней, беспрестанно вспыхивая, заблестели по всей линии.

– Вот оно, когда пошло настоящее! – сказал Калугин. – Этого звука ружейного я слышать не могу хладнокровно: как-то, знаешь, за душу берет. Вон и *ура*, – прибавил он, прислушиваясь к дальнему протяжному гулу сотен голосов: «а-а-а-а» – доносившихся до него с бастиона.

– Чье это «ура»: их или наше?

– Не знаю, но это уж рукопашная пошла, потому что стрельба затихла.

В это время под окном к крыльцу подскочил офицер с казаком и слез с лошади.

– Откуда?

– С бастиона. Генерала нужно.

– Пойдемте. Ну что?

– Атаковали ложементы... заняли... Французы подвели огромные резервы... атаковали наших... было только два батальона, – говорил, запыхавшись, тот же самый офицер, который приходил вечером, с трудом переводя дух, но совершенно развязно направляясь к двери.

– Что ж, отступили? – спросил Гальцин.

– Нет, – сердито отвечал офицер, – подоспел батальон, отбили, но полковой командир убит, офицеров много, приказано просить подкрепления...

И с этими словами он с Калугиным прошел к генералу, куда уже мы не последуем за ними.

Через пять минут Калугин уже сидел верхом на казачьей лошади (и опять тою особенной quasi-казацкой посадкой, в которой, я замечал, все адъютанты видят почему-то что-то особенно приятное) и рысцой ехал на бастион с тем, чтобы передать туда некоторые приказания и дожидаться известий об окончательном результате дела; а князь Гальцин, под влиянием того тяжелого волнения, которое производят обыкновенно близкие признаки дела на зрителя, не принимающего в нем участия, вышел на улицу и без всякой цели стал взад и вперед ходить по ней.

⁴⁰ Какой красивый вид! (*франц.*)

Глава VI

Солдаты несли на носилках и вели под руки раненых. На улице было совершенно темно; только редко-редко где светились окна в госпитале или у засидевшихся офицеров. С бастионов доносился тот же грохот орудий и ружейной перепалки, и те же огни вспыхивали на черном небе. Изредка слышались топот лошади проскакавшего ординарца, стон раненого, шаги и говор носильщиков или женский говор испуганных жителей, вышедших на крылечко посмотреть на канонаду.

В числе последних был и знакомый нам Никита, старая матроска, с которой он помирился уже, и десятилетняя дочь ее.

– Господи, Мати Пресвятая Богородицы! – говорила про себя, вздыхая, старуха, глядя на бомбы, которые, как огненные мячики, беспрестанно перелетали с одной стороны на другую. – Страсти-то, страсти какие! И-и-хи-хи. Такого и в первую бандировку не было. Вишь, где лопнула, проклятая! Прямо над нашим домом в слободке.

– Нет, это дальше, к тетеньке Аринке в сад все попадают, – сказала девочка.

– И где-то, где-то барин мой таперича? – сказал Никита нараспев и еще пьяный немного. – Уж как я люблю евтого барина своего, так сам не знаю, – так люблю, что если, избави бог, да убьют его грешным делом, так, верите ли, тетенька, я после евтого сам не знаю, что могу над собой произвести, ей-богу! Уж такой барин, что одно слово! Разве с евtimi сменить, что тут в карты играют? Это что – тьфу! одно слово! – заключил Никита, указывая на светящееся окно комнаты барина, в которой во время отсутствия штабс-капитана юнкер Жвадческий позвал к себе на кутеж, по случаю получения креста, гостей: подпоручика Угровича и поручика Непши-сецкого, который был нездоров флюсом.

– Звездочки-то, звездочки так и катятся, – глядя на небо, прервала девочка молчание, последовавшее за словами Никиты. – Вон, вон еще скатилась! К чему это так? а, маменька?

– Совсем разобьют домишко наш, – сказала старуха, вздыхая и не отвечая на вопрос девочки.

– А как мы нынче с дяинькой ходили туда, маынька, – продолжала певучим голосом разговорившаяся девочка, – так большущая такая ядро в самой комнатке подле шкапа лежит; она сенцы, видно, пробила да в горницу и влетела. Такая большущая, что не поднимешь.

– У кого были мужья да деньги, так повыехали, – говорила старуха, – а тут последний домишко и тот разбили. Вишь как, вишь как палит, злодей! Господи, Господи!

– А как нам только выходить, как одна бомба прилети-ит, как лопни-ит, как засыпи-ит землю, так даже чуть-чуть нас с дяинькой одним оскретком не задело.

Глава VII

Все больше и больше раненых, на носилках и пешком, поддерживаемых одни другими и громко разговаривающих между собой, встречалось князю Гальцину.

– Как они подскочили, братцы мои, – говорил басом один высокий солдат, несший два ружья за плечами, – как подскочили, как крикнут: «Алла, Алла!»⁴¹, так друг на друга и лезут. Одних бьешь, а другие лезут – ничего не сделаешь. Видимо-невидимо...

Но в этом месте рассказа Гальцин остановил его.

– Ты с бастиона?

– Так точно, ваше благородие.

⁴¹ Наши солдаты, воюя с турками, так привыкли к этому крику врагов, что теперь всегда рассказывают, что французы тоже кричат «Алла!» (прим. Л.Н. Толстого).

- Ну, что там было? Расскажи.
- Да что было? Подступила их, ваше благородие, *сила*, лезут на вал, да и шабаш. Одолели совсем, ваше благородие!
- Как одолели? Да ведь вы отбили же?
- Где тут отбить, когда *его* вся *сила* подошла: перебил всех наших, а сикурсу не подают. Солдат ошибался, потому что траншея была за нами; но это – странность, которую всякий может заметить: солдат, раненный в деле, всегда считает его проигранным и ужасно кровопролитным.
- Как же мне говорили, что отбили, – с досадой сказал Гальцин. – Может быть, после тебя отбили? Ты давно оттуда?
- Сейчас, ваше благородие! – отвечал солдат. – Вряд ли, должно, за ним траншея осталась... совсем одолел.
- Ну, как вам не стыдно – отдали траншею. Это ужасно! – сказал Гальцин, огорченный этим равнодушием.
- Что ж, когда *сила*! – проворчал солдат.
- И! ваши благородия, – заговорил в это время солдат с носилок, поравнявшихся с ними, – как же не отдать, когда перебил всех почитай? Кабы наша сила была, ни в жисть бы не отдали. А то что сделаешь? Я одного заколол, а тут меня как ударит... О-ох... легче, братцы... ровнее, братцы, ровней иди... о-о-о! – застонал раненый.
- А в самом деле, кажется, много лишнего народа идет, – сказал Гальцин, останавливая опять того же высокого солдата с двумя ружьями. – Ты зачем идешь? Эй ты, остановись!
- Солдат остановился и левой рукой снял шапку.
- Куда ты идешь и зачем? – закричал он на него строго. – Него...
- Но в это время, совсем вплоть подойдя к солдату, он заметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя.
- Ранен, ваше благородие!
- Чем ранен?
- Сюда-то, должно, пулей, – сказал солдат, указывая на руку, – а уж здесь не могу знать, чем голову-то прошибло, – и, нагнув ее, показал окровавленные и слипшиеся волосы на затылке.
- А ружье другое чье?
- Стуцер французской, ваше благородие... отнял. Да я бы не пошел, кабы не евтого солдата проводить, а то упадет неравно, – прибавил он, указывая на солдата, который шел немного впереди, опираясь на ружье и с трудом таща и передвигая левую ногу.
- Князю Гальцину вдруг ужасно стыдно стало за свои несправедливые подозрения. Он почувствовал, что краснеет, отвернулся и, уже больше не спрашивая раненых и не наблюдая за ними, пошел на перевязочный пункт.
- С трудом пробившись на крыльце между пешком шедшими ранеными и носильщиками, входившими с ранеными и выходившими с мертвыми, Гальцин вошел в первую комнату, взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу: это было слишком ужасно!

Глава VIII

Большая, высокая темная зала, освещенная только четырьмя или пятью свечами, с которыми доктора подходили осматривать раненых, была буквально полна. Носильщики беспрестанно вносили раненых, складывали их один подле другого на пол, на котором уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови друг друга, и шли за новыми. Лужи крови, видные на местах незанятых, горячее дыхание нескольких сотен человек и испарения рабочих с носилками производили какой-то особенный, тяжелый, густой, вонючий смрад, в кото-

ром пасмурно горели четыре свечи на различных концах залы. Говор разнообразных стонов, вздохов, хрипений, прерываемый иногда пронзительным криком, носился по всей комнате. *Сестры*, со спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами. Доктора, с засученными рукавами, стоя на коленях перед ранеными, около которых фельдшера держали свечи, осматривали, ощупывали и зондировали раны, несмотря на ужасные стоны и мольбы страдальцев. Один из докторов сидел около двери за столиком и в ту минуту, как в комнату вошел Гальцин, записывал уже пятьсот тридцать второго.

– Иван Богаев, рядовой 3-й роты С. полка, *fractura femoris complicata*⁴², – кричал другой из конца залы, ощупывая разбитую ногу. – Переверни-ка его.

– О-ой, отцы мои, вы наши отцы! – кричал солдат, умоляя, чтобы его не трогали.

– *Perforatio capitis*⁴³.

– Семен Нефердов, подполковник Н. пехотного полка. Вы немного потерпите, полковник, а то этак нельзя: я брошу, – говорил третий,ковыряя каким-то крючком в голове несчастного подполковника.

– Ай, не надо! Ой, ради бога, скорее, скорее, ради... а-а-а-а!

– *Perforatio pectoris*⁴⁴... Севастьян Середа, рядовой... какого полка?.. Впрочем, не пишите: *moritur*⁴⁵. Несите его, – сказал доктор, отходя от солдата, который, закатив глаза, хрипел уже.

Человек сорок солдат-носильщиков, дожидаясь ноши перевязанных в госпиталь и мертвых в часовню, стояли у дверей и молча, изредка тяжело вздыхая, смотрели на эту картину...

Глава IX

По дороге к бастиону Калугин встретил много раненых; но, по опыту зная, как в деле дурно действует на дух человека это зрелище, он не только не останавливался расспрашивать их, но, напротив, старался не обращать на них никакого внимания. Под горой ему попался ординарец, который, марш-марш скакал с бастиона.

– Зобкин! Зобкин, постойте на минутку.

– Ну, что?

– Вы откуда?

– Из ложементов.

– Ну, как там? жарко?

– Ах, ужасно!

И ординарец поскакал дальше.

Действительно, хотя ружейной стрельбы было мало, канонада завязалась с новым жаром и ожесточением.

«Ах, скверно!» – подумал Калугин, испытывая какое-то неприятное чувство, и ему тоже пришло предчувствие, то есть мысль очень обыкновенная – мысль о смерти. Но Калугин был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют храбр, одним словом. Он не поддавался первому чувству и стал ободрять себя, вспомнил про одного адъютанта, кажется Наполеона, который, передав приказания, марш-марш, с окровавленной головой подскакал к Напо-

⁴² осложненное раздробление бедра (*лат.*).

⁴³ Прободение черепа (*лат.*).

⁴⁴ Прободение грудной полости (*лат.*).

⁴⁵ умирает (*лат.*).

леону. «Vous êtes blessé?»⁴⁶ – сказал ему Наполеон. «Je vous demande pardon, sire, je suis tué»⁴⁷, – и адъютант упал с лошади и умер на месте.

Ему показалось это очень хорошо, и он вообразил себя даже немножко этим адъютантом, потом ударил лошадь плетью, принял еще более лихую *казацкую посадку*, оглянулся на казака, который, стоя на стременах, рысил за ним, и совершенным молодцом приехал к тому месту, где надо было слезать с лошади. Здесь он нашел четырех солдат, которые, усевшись на камушки, курили трубки.

– Что вы здесь делаете? – крикнул он на них.

– Раненого отводили, ваше благородие, да отдохнуть присели, – отвечал один из них, пряча за спину трубку и снимая шапку.

– То-то отдохнуть! Марш к своим местам.

⁴⁶ Вы ранены? (*франц.*)

⁴⁷ Извините, государь, я убит (*франц.*).



И он вместе с ними пошел по траншее в гору, на каждом шагу встречая раненых. Поднявшись в гору, он повернул в траншею налево и, пройдя по ней несколько шагов, очутился совершенно один. Близехонько от него прожужжал осколок и ударился в траншею. Другая бомба поднялась перед ним и, казалось, летела прямо на него. Ему вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал шагов пять и упал на землю. Когда же бомба лопнула, и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения, но никого не было.

Уж раз проникнув в душу, страх не скоро уступает место другому чувству. Он, который всегда хвастался, что никогда не нагибается, ускоренными шагами и чуть-чуть не ползком пошел по траншее. «Ах, нехорошо! – подумал он, спотыкнувшись. – Непременно убьют», – и,

чувствуя, как трудно дышалось ему и как пот выступал по всему телу, он удивлялся самому себе, но уже не пытался преодолеть своего чувства.

Вдруг чьи-то шаги слышались впереди его. Он быстро разогнулся, поднял голову и, бодро побрякивая саблей, пошел уже не такими скорыми шагами, как прежде. Он не узнавал себя. Когда он сошелся с встретившимся ему саперным офицером и матросом и первый крикнул ему: «Ложитесь!», указывая на светлую точку бомбы, которая, светлее и светлее, быстрее и быстрее приближаясь, шлепнулась около траншеи, он только немного и невольно, под влиянием испуганного крика, нагнул голову и пошел дальше.

– Вишь, какой бравый! – сказал матрос, который преспокойно смотрел на падавшую бомбу и опытным глазом сразу расчел, что осколки ее не могут задеть в траншее. – И ложиться не хочет.

Уже несколько шагов только оставалось Калугину перейти через площадку до блиндажа командира бастиона, как опять на него нашло затмение и этот глупый страх; сердце забилось сильнее, кровь хлынула в голову, и ему нужно было усилие над собою, чтобы пробежать до блиндажа.

– Что вы так запыхались? – сказал генерал, когда он ему передал приказания.

– Шел скоро очень, ваше превосходительство!

– Не хотите ли вина стакан?

Калугин выпил стакан вина и закурил папиросу. Дело уже прекратилось, только сильная канонада продолжалась с обеих сторон. В блиндаже сидели генерал Н., командир бастиона и еще человек шесть офицеров, в числе которых был и Праскухин, и говорили про разные подробности дела. Сидя в этой уютной комнате, обитой голубыми обоями, с диваном, кроватью, столом, на котором лежат бумаги, стенными часами и образом, перед которым горела лампадка, глядя на эти признаки жилья и на толстые аршинные балки, составлявшие потолок, и слушая выстрелы, казавшиеся слабыми в блиндаже, Калугин решительно понять не мог, как он два раза позволил себя одолеть такой непростительной слабости. Он сердился на себя, и ему хотелось опасности, чтобы снова испытать себя.

– А вот я рад, что и вы здесь, капитан, – сказал он морскому офицеру в штаб-офицерской шинели, с большими усами и Георгием, который вошел в это время в блиндаж и просил генерала дать ему рабочих, чтобы исправить на его батарее две амбразуры, которые были засыпаны. – Мне генерал приказал узнать, – продолжал Калугин, когда командир батареи перестал говорить с генералом, – могут ли ваши орудия стрелять по траншее картечью?

– Одно только орудие, – угрюмо отвечал капитан.

– Все-таки пойдете посмотрим.

Капитан нахмурился и сердито крякнул.

– Уж я всю ночь там простоял, пришел хоть отдохнуть немного, – сказал он. – Нельзя ли вам одним сходить? Там мой помощник, лейтенант Карц, вам все покажет.

Капитан уже шесть месяцев командовал этой одной из самых опасных батарей, и даже, когда не было блиндажей, не выходя, с начала осады жил на бастионе и между моряками имел репутацию храбреца. Поэтому-то отказ его особенно поразил и удивил Калугина. «Вот репутация!» – подумал он.

– Ну, так я пойду один, если вы позволите, – сказал он несколько насмешливым тоном капитану, который, однако, не обратил на его слова никакого внимания.

Но Калугин не сообразил того, что он в разные времена всего-навсего провел часов пятьдесят на бастионах, тогда как капитан жил там шесть месяцев. Калугина еще возбуждали тщеславие, желание блеснуть, надежда на награды, на репутацию и прелесть риска; капитан же уж прошел через все это: сначала тщеславился, храбрился, рисковал, надеялся на награды и репутацию и даже приобрел их, но теперь уже все эти побудительные средства потеряли для него силу, и он смотрел на дело иначе: исполнял в точности свою обязанность, но, хорошо понимая,

как мало ему оставалось случайностей жизни, после шестимесячного пребывания на бастионе уже не рисковал этими случайностями без строгой необходимости, так что молодой лейтенант, с неделю тому назад поступивший на батарею и показывавший теперь ее Калугину, с которым они бесполезно друг перед другом высовывались в амбразуры и вылезали на банкеты, казался в десять раз храбрее капитана.

Осмотрев батарею и направляясь назад к блиндажу, Калугин наткнулся в темноте на генерала, который со своими ординарцами шел на вышку.

– Ротмистр Праскухин! – сказал генерал. – Сходите, пожалуйста, в правый ложемент и скажите второму батальону М* полка, который там на работе, чтоб он оставил работу, не шумя вышел оттуда и присоединился бы к своему полку, который стоит под горой в резерве... Понимаете? Сами отведите к полку.

– Слушаю-с.

И Праскухин рысью побежал к ложементу.

Стрельба становилась реже.

Глава X

– Это второй батальон М* полка? – спросил Праскухин, прибежав к месту и наткнувшись на солдат, которые в мешках носили землю. – Так точно-с. – Где командир?

Михайлов, полагая, что спрашивают ротного командира, вылез из своей ямочки и, принимая Праскухина за начальника, держа руку у козырька, подошел к нему.

– Генерал приказал... вам... извольте идти... поскорей... и главное – потише... назад... не назад, а к резерву, – говорил Праскухин, искоса поглядывая по направлению огней неприятеля.

Узнав Праскухина, опустив руку и разобрав, в чем дело, Михайлов передал приказание, и батальон весело зашевелился, забрал ружья, надел шинели и двинулся.

Кто не испытал, тот не может вообразить себе того наслаждения, которое ощущает человек, уходя, после трех часов бомбардирования, из такого опасного места, как ложементы. Михайлов в эти три часа уже несколько раз, не без основания, считавший свой *конец* неизбежным, успел свыкнуться с убеждением, что его непременно убьют и что он уже не принадлежит этому миру. Несмотря ни на что, однако, ему большого труда стоило удержать свои ноги, чтобы они не бежали, когда он перед ротой, рядом с Праскухиным, вышел из ложементов.

– До свиданья, – сказал ему майор, командир другого батальона, который оставался в ложементах и с которым они вместе закусывали сыром, сидя в ямочке около бруствера, – счастливого пути.

– И вам желаю счастливо отстоять. Теперь, кажется, затихло.

Но только что он успел сказать это, как неприятель, должно быть, заметив движение в ложементах, стал палить чаще и чаще. Наши стали отвечать ему, и опять поднялась сильная канонада. Звезды высоко, но не ярко блестели на небе. Ночь была темна, хоть глаз выколи, только огни выстрелов и разрывы бомб мгновенно освещали предметы. Солдаты шли скоро и молча и невольно перегоняя друг друга; только слышны были за беспрестанными раскатами выстрелов мерный звук их шагов по сухой дороге, звук столкнувшихся штыков или вздох и молитва какого-нибудь робкого солдатика: «Господи, Господи! что это такое!» Иногда слышался стон раненого и крики: «Носилки!» (В роте, которой командовал Михайлов, от одного артиллерийского огня выбыло в ночь двадцать шесть человек.) Вспыхивала молния на мрачном далеком горизонте, часовой с бастиона кричал: «Пу-уш-ка!», и ядро, жужжа над ротой, взрывало землю и взбрасывало камни.

«Черт возьми! Как они тихо идут, – думал Праскухин, беспрестанно оглядываясь назад, шагая подле Михайлова. – Право, лучше побегу вперед, ведь я передал приказание... Впрочем, нет: ведь могут рассказывать потом, что я трус! Что будет, то будет – пойду рядом».

«И зачем он идет за мной, – думал с своей стороны Михайлов. – Сколько я ни замечал, он всегда приносит несчастье. Вот она летит, прямо сюда, кажется».

Пройдя несколько сот шагов, они столкнулись с Калугиным, который, бодро побрякивая саблей, шел к ложеамтам, с тем чтобы, по приказанию генерала, узнать, как подвинулись там работы. Но, встретив Михайлова, он подумал, что, чем ему самому под этим страшным огнем идти туда, чего и не было ему приказано, он может расспросить все подробно у офицера, который был там. И действительно, Михайлов подробно рассказал про работы. Пройдя еще немного с ним, Калугин повернул в траншею, ведущую к блиндажу.

– Ну, что новенького? – спросил офицер, который, ужиная, один сидел в комнате.

– Да ничего; кажется, что уж больше дела не будет.

– Как не будет? напротив, генерал сейчас опять пошел на вышку. Еще полк пришел. Да вот она... слышите? опять пошла ружейная. Вы не ходите. Зачем вам? – прибавил офицер, заметив движение, которое сделал Калугин.

«А мне, по-настоящему, непременно надо там быть, – подумал Калугин, – но уж я и так нынче много подвергал себя опасности».

– И в самом деле, я их лучше тут подожду, – сказал он.

Действительно, минут через двадцать генерал вернулся вместе с офицерами, которые были при нем; в числе их был и юнкер барон Пест, но Праскухина не было. Ложеамты были отбиты и заняты нами.

Получив подробные сведения о деле, Калугин вместе с Пестом вышел из блиндажа.

Глава XI

– У вас шинель в крови: неужели вы дрались в рукопашном? – спросил его Калугин.

– Ах, ужасно! Можете себе представить...

И Пест стал рассказывать, как он вел всю роту, как ротный командир был убит, как он заколол француза и как, если бы не он, дело было бы проиграно.

Основания этого рассказа, что ротный командир был убит и что Пест убил француза, были справедливы, но, передавая подробности, юнкер выдумывал и хвастал.

Хвастал он невольно, потому что во время всего дела находился в каком-то тумане и забыты до такой степени, что все, что случилось, казалось ему случившимся где-то, когда-то и с кем-то. Очень естественно, он старался воспроизвести эти подробности с выгодной для себя стороны. Но вот как это было действительно.

Батальон, к которому прикомандирован был юнкер для вылазки, часа два под огнем стоял около какой-то стенки; потом батальонный командир впереди сказал что-то, ротные командиры зашевелились, батальон тронулся, вышел из-за бруствера и, пройдя шагов сто, остановился, построившись в ротные колонны. Песту сказали, чтобы он стал на правом фланге второй роты.

Решительно не отдавая себе отчета, где и зачем он был, юнкер стал на место и с невольно сдержанным дыханием и холодной дрожью, пробегавшей по спине, бессознательно смотрел вперед в темную даль, ожидая чего-то страшного. Ему, впрочем, не столько страшно было, потому что стрельбы не было, сколько дико, странно было подумать, что он находился вне крепости, в поле. Опять батальонный командир впереди сказал что-то. Опять шепотом заговорили офицеры, передавая приказания, и черная стена первой роты вдруг опустилась. Приказано было лечь. Вторая рота легла также, и Пест, ложась, наколол руку на какую-то колючку.

Не лег только один командир второй роты. Его невысокая фигура, с вынутой шпагой, которой он размахивал, не переставая говорить, двигалась перед ротой.

– Ребята! смотри, молодцами у меня! С ружей не палить, а штыками их, каналов. Когда я крикну «ура!» – за мной и не отставать... Дружней, главное дело... покажем себя, не ударим лицом в грязь, а, ребята? За царя-батюшку!

– Как фамилия нашего ротного командира? – спросил Пест у юнкера, который лежал рядом с ним. – Какой он храбрый!

– Да, как в дело, всегда... – отвечал юнкер. – Лисинковский его фамилия.

В это время перед самой ротой мгновенно вспыхнуло пламя, раздался ужаснейший треск, оглушил всю роту, высоко в воздухе зашуршали камни и осколки (по крайней мере, секунд через пятьдесят один камень упал сверху и отбил ногу солдату). Это была бомба с *элевационного станка*, и то, что она попала в роту, доказывало, что французы заметили колонну.

– Бомбами пускать! Дай только добраться, тогда попробуешь штыка трехгранного русского, проклятый! – заговорил ротный командир так громко, что батальонный командир должен был приказать ему молчать и не шуметь так много.

Вслед за этим первая рота встала, за ней вторая – приказано было взять ружья наперевес, и батальон пошел вперед. Пест был в таком страхе, что он решительно не помнил, долго ли, куда и кто, что. Он шел, как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестел миллион огней, засвистело, затрещало что-то; он закричал и побежал куда-то, потому что все бежали и все кричали. Потом он споткнулся и упал на что-то. Это был ротный командир (который был ранен впереди роты и, принимая юнкера за француза, схватил его за ногу). Потом, когда он вырвал ногу и приподнялся, на него в темноте спиной наскочил какой-то человек и чуть опять не сбил с ног, другой человек кричал: «*Коли его! что смотришь?*» Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. «*Ah! Dieu!*⁴⁸» – закричал кто-то страшным, пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что он заколол француза. Холодный пот выступил у него по всему телу, он затрясся, как в лихорадке, и бросил ружье. Но это продолжалось только одно мгновение; ему тотчас же пришло в голову, что он – герой. Он схватил ружье и вместе с толпой, крича «ура», побежал прочь от убитого француза, с которого тут же солдат стал снимать сапоги. Пробежав шагов двадцать, он прибежал в траншею. Там были наши и батальонный командир.

– А я заколол одного! – сказал он батальонному командиру.

– Молодцом, барон...

Глава XII

– А знаете, Праскухин убит, – сказал Пест, провожая Калугина, который шел к дому.

– Не может быть!

– Как же, я сам его видел.

– Прощай, однако, мне надо скорее.

«Я очень доволен, – думал Калугин, возвращаясь к дому, – в первый раз на мое дежурство счастье. Отличное дело, я и жив, и цел, представления будут отличные и уж непременно золотая сабля. Да, впрочем, я и стою ее».

Доложив генералу все, что нужно было, он пришел в свою комнату, в которой, уже давно вернувшись и дожидаясь его, сидел князь Гальцин, читая книгу, которую нашел на столе Калугина.

С удивительным наслаждением Калугин почувствовал себя дома, вне опасности, и, надев ночную рубашку, лежа в постели, рассказал Гальцину подробности дела, передавая их весьма естественно, с той точки зрения, с которой подробности эти доказывали, что он, Калугин,

⁴⁸ О Господи! (*франц.*)

весьма дельный и храбрый офицер, на что, мне кажется, излишне бы было намекать, потому что это все знали и не имели никакого права и повода сомневаться, исключая, может быть, покойника ротмистра Праскухи-на, который, несмотря на то, что, бывало, считал за счастье ходить под руку с Калугиным, вчера только по секрету рассказывал одному приятелю, что Калугин очень хороший человек, но, между нами будь сказано, ужасно не любит ходить на бастионы.

Только что Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошелся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как он увидел молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услышал крик часового: «Маркела!» и слова одного из солдат, шедших сзади: «Как раз на батальон прилетит!»

Михайлов оглянулся. Светлая точка бомбы, казалось, остановилась на своем зените и в том положении, когда решительно нельзя определить ее направления. Но это продолжалось только мгновение: бомба быстрее и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки и слышно роковое посвистывание, опускалась прямо в середину батальона.

– Ложись! – крикнул чей-то испуганный голос.

Михайлов и Праскухин прилегли к земле. Праскухин, зажмурясь, слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом, – бомбу не рвало. Праскухин испугался, не напрасно ли он струсил? может быть, бомба упала далеко и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с самолюбивым удовольствием увидел, что Михайлов около самых ног его недвижимо лежал на земле. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой в аршине от него крутившейся бомбы.

Ужас, холодный, исключаящий все другие мысли и чувства ужас объял все существо его. Он закрыл лицо руками.

Прошла еще секунда – секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.

«Кого убьет – меня или Михайлова, или обоих вместе? А коли меня, то куда? В голову, так все кончено; а если в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, – и я могу еще жив остаться. А может быть, одного Михайлова убьет: тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, и его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе... меня».

Тут он вспомнил про двенадцать рублей, которые был должен Михайлову, вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить; цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову. Женщина, которую он любил, явилась ему в воображении в чепце с лиловыми лентами; человек, которым он был оскорблен пять лет тому назад и которому он не оплатил за оскорбление, вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других воспоминаний, чувство настоящего – ожидания смерти и ужаса – ни на мгновение не покидало его. «Впрочем, может быть, не лопнет», – подумал он и с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, еще сквозь закрытые веки, глаза его поразил красный огонь, с страшным треском что-то толкнуло его в середину груди; он побежал куда-то, споткнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок.

«Слава богу! Я только контужен», – было его первою мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди, – но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавливали голову. В глазах его мелькали солдаты – и он бессознательно считал их. «Один, два, три солдата, а вот в подвернутой шинели офицер», – думал он. Потом молния блеснула в его глазах, и он думал, из чего это выстрелили: из мортиры или из пушки? Должно быть, из пушки; а вот еще выстрелили, а вот еще солдаты – пять, шесть, семь солдат, идут всё мимо. Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его; он хотел крикнуть, что он контужен, но рот был так сух, что язык прилип к нёбу, и ужасная жажда мучила его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди, – это ощущение мокроты напоминало ему о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. «Верно, я в кровь разбился, как упал», – подумал он, и, все более и более начиная

подаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавят его, он собрал все силы и хотел закричать: «Возьмите меня», – но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, и ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни все прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди.

Глава XIII

Михайлов, увидав бомбу, упал на землю и так же зажмурился, так же два раза открывал и закрывал глаза и так же, как и Праскухин, необъятно много передумал и перечувствовал в эти две секунды, во время которых бомба лежала неразорванной. Он мысленно молился Богу и все твердил: «Да будет воля Твоя! И зачем я пошел на военную службу, – вместе с тем думал он, – и еще перешел в пехоту, чтобы участвовать в кампании. Не лучше ли было мне оставаться в уланском полку в городе Т., проводить время с моим другом Наташей... А теперь вот что!» И он начал считать: раз, два, три, четыре, загадывая, что если разорвет в чет, то он будет жив, а в нечет – то будет убит. «Все кончено – убит!» – подумал он, когда бомбу разорвало (он не помнил, в чет или нечет), и он почувствовал удар и жестокую боль в голове. «Господи, прости мои согрешения!» – проговорил он, всплеснув руками, приподнялся и без чувств упал навзничь.

Первое ощущение, когда он очнулся, была кровь, которая текла по носу, и боль в голове, становившаяся гораздо слабее. «Это душа отходит, – подумал он, – что будет там? Господи! Приими дух мой с миром. Только одно странно, – рассуждал он, – что, умирая, я так ясно слышу шаги солдат и звуки выстрелов».

– Давай носилки... эй... ротного убило! – крикнул над его головой голос, который он невольно узнал за голос барабанщика Игнатьева.

Кто-то взял его за плечи. Он попробовал открыть глаза и увидел над головой темно-синее небо, группы звезд и две бомбы, которые летели над ним, догоняя одна другую, увидел Игнатьева, солдат с носилками и ружьями, вал траншеи и вдруг поверил, что он еще не на том свете.



Он был камнем легко ранен в голову. Самое первое впечатление его было как будто сожаление: он так было хорошо и спокойно приготовился к переходу *туда*, что на него неприятно подействовало возвращение к действительности, с бомбами, траншеями, солдатами и кровью; второе впечатление его была бессознательная радость, что он жив, и третье – страх и желание уйти скорей с бастиона. Барабанщик платком завязал голову своему командиру и, взяв его под руку, повел к перевязочному пункту.

«Куда и зачем я иду, однако? – подумал штабс-капитан, когда он опомнился немного. – Мой долг оставаться с ротой, а не уходить вперед, тем более что и рота скоро выйдет из-под огня», – шепнул ему какой-то голос.

– Не нужно, братец, – сказал он, вырывая руку от услужливого барабанщика. – Я не пойду на перевязочный пункт, я останусь с ротой.

И он повернул назад.

– Вам бы лучше перевязаться, ваше благородие, как следует, – сказал робкий Игнатъев. – Ведь это сторяча она только оказывает, что ничего, а то хуже бы не сделать, ведь тут вон какая жарня идет. И право, ваше благородие.

Михайлов остановился на минуту в нерешительности и, кажется, последовал бы совету Игнатъева, ежели бы не вспомнилось, как много тяжелораненых на перевязочном пункте. «Может быть, доктора улыбнутся моей царاپине», – подумал штабс-капитан и решительно, несмотря на доводы барабанщика, пошел назад к роте.

– А где ординарец Праскухин, который шел со мной? – спросил он прапорщика, который вел роту, когда они встретились.

– Не знаю... убит, кажется, – неохотно отвечал прапорщик. – Убит или ранен? Как же вы не знаете, ведь он с нами шел. И отчего вы его не взяли?

– Где тут было брать, когда жарня этакая!

– Ах, как же вы это, Михаил Иванович, – сказал Михайлов сердито, – как же бросить, ежели он жив; да если и убит, так все-таки тело надо было взять.

– Где жив, когда, я вам говорю сам подходил и видел, – сказал прапорщик. – Помилуйте, только бы своих уносить. Вон каналья, ядрами теперь стал пускать, – прибавил он.

Михайлов присел и схватился за голову, которая от движения ужасно заболела у него.

– Нет, непременно надо сходить взять: может быть, он еще жив, – сказал Михайлов. – Это наш *долг*, Михаил Иванович!

Михаил Иванович не отвечал.

«Вот он не взял тогда, а теперь надо солдат посылать одних; а и посылать как? Под этим страшным огнем могут убить задаром», – думал Михайлов.

– Ребята! Надо сходить назад взять офицера, что ранен там, в канаве, – сказал он не слишком громко и повелительно, чувствуя, как неприятно будет солдатам исполнять это приказание. И действительно, так как он ни к кому именно не обращался, никто не вышел, чтобы исполнить его.

«И точно, может, он уже умер и не *стоит* подвергать людей напрасной опасности, а виноват один я, что не позаботился. Схожу сам, узнаю, жив ли он. Это мой *долг*», – сказал сам себе Михайлов.

– Михаил Иванович! Ведите роту, а я вас догоню, – сказал он и, одной рукой подобрав шинель, другой рукой дотрагиваясь беспрестанно до образка Митрофания-угодника, в которого он имел особенную веру, рысью побежал по траншее.

Убедившись в том, что Праскухин был убит, Михайлов, так же пыхтя, приседая и придерживая рукой сбившуюся повязку и голову, которая сильно начинала болеть у него, потащился назад. Батальон уже был под горой на месте и почти вне выстрелов, когда Михайлов догнал его. Я говорю: почти вне выстрелов, потому что изредка залетали и сюда *шалльные* бомбы.

«Однако надо будет завтра сходить на перевязочный пункт записаться», – подумал штабс-капитан, в то время как пришедший фельдшер перевязывал его.

Глава XIV

Сотни свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных, высоких и мелких надежд и желаний, с окоченелыми членами лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни Мертвых в Севастополе; сотни людей с проклятиями и молитвами на пересохших устах ползали, ворочались и стонали, одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровав-

ленном полу перевязочного пункта, – а все так же, как и в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и все так же, как и в прежние дни, обещающая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплыло могучее, прекрасное светило.

Глава XV

На другой день вечером опять егерская музыка играла на бульваре, и опять офицеры, юнкера, солдаты и молодые женщины празднично гуляли около павильона и по нижним аллеям из цветущих душистых белых акаций.

Калугин, князь Гальцин и какой-то полковник ходили под руки около павильона и говорили о вчерашнем деле. Главную путеводительную нитью разговора, как это всегда бывает в подобных случаях, было не самое дело, а то участие, которое принимал рассказывающий в деле. Лица и звук голосов их имели серьезное, почти печальное выражение, как будто потери вчерашнего дня сильно трогали и огорчали каждого, но, сказать по правде, так как никто из них не потерял очень близкого человека, это выражение печали было выражение официальное, которое они только считали обязанностью выказывать. Напротив, Калугин и полковник были бы готовы каждый день видеть такое дело с тем, чтобы только каждый раз получать золотую саблю и генерал-майора, несмотря на то, что они были прекрасные люди. Я люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя, для своего честолюбия губящего миллионы. Да спросите по совести прапорщика Петрушова и подпоручика Антонова и т. д.: всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтоб получить лишнюю звездочку или треть жалованья.

– Нет, извините, – говорил полковник, – прежде началось на левом фланге. *Ведь я был там.*

– А может быть, – отвечал Калугин, – *я больше был на правом; я два раза туда ходил: один раз отыскивал генерала, а другой раз так, посмотреть ложементы пошел. Вот где жарко было.*

– Да уж, верно, Калугин знает, – сказал полковнику князь Гальцин, – ты знаешь, мне нынче В... про тебя говорил, что ты молодец.

– Потери только, потери ужасные, – сказал полковник тоном официальной печали, – *у меня в полку четыреста человек выбыло. Удивительно, как я жив вышел оттуда.*

В это время навстречу этим господам, на другом конце бульвара, показалась лиловатая фигура Михайлова с повязанной головой.

– Что, вы ранены, капитан? – сказал Калугин.

– Да, немножко, камнем, – отвечал Михайлов.

– *Est-ce que le pavillon est baissé déjà?*⁴⁹ – спросил князь Гальцин, глядя на фуражку штабс-капитана и не обращаясь ни к кому в особенности.

– *Non pas encore*⁵⁰, – отвечал Михайлов, которому хотелось показать, что он знает и поговорит по-французски.

– Неужели продолжается еще перемирие? – сказал Гальцин, учтиво обращаясь к нему по-русски и тем говоря – как это показалось штабс-капитану – что вам, должно быть, тяжело будет говорить по-французски, так не лучше ли уж просто?.. И с этим адъютанты отошли от него. Штабс-капитан так же, как и вчера почувствовал себя чрезвычайно одиноким и, поклонившись

⁴⁹ Разве флаг уже спущен? (франц.)

⁵⁰ Нет еще (франц.).

с разными господами – с одними не желая сходитья, а к другим не решаясь подойти, – сел около памятника Казарского и закурил папироску.

Барон Пест тоже пришел на бульвар. Он рассказывал, что был на перемирии и говорил с французскими офицерами, что будто один французский офицер сказал ему: «S'il n'avait pas fait clair encore pendant une demi-heure, les embuscades auraient été reprises»⁵¹, – и как он отвечал ему: «Monsieur! je ne dis pas non, pour ne pas vous donner un démenti»⁵², и как хорошо он сказал и т. д.

В сущности же, хотя и был на перемирии, он не успел сказать там ничего особенного, хотя ему и ужасно хотелось поговорить с французами (ведь это ужасно весело говорить с французами). Юнкер барон Пест долго ходил по линии и все спрашивал французов, которые были близко к нему: «De quel ré'giment êtes-vous?»⁵³ Ему отвечали – и больше ничего. Когда же он зашел слишком далеко за линию, то французский часовой, не подозревая, что этот солдат знает по-французски, в третьем лице выругал его. «Il vient regarder nos travaux se sacré...»⁵⁴ – сказал он. Вследствие чего, не находя больше интереса на перемирии, юнкер барон Пест поехал домой и уже дорогой придумал те французские фразы, которые теперь рассказывал. На бульваре были и капитан Зобов, который громко разговаривал, и капитан Обжогов в растерзанном виде, и артиллерийский капитан, который ни в ком не заискивает, и счастливый в любви юнкер, и все те же вчерашние лица и все с теми же вечными побуждениями лжи, тщеславия и легкомыслия. Недоставало только Праскухина, Нефердова и еще кой-кого, о которых здесь едва ли помнил и думал кто-нибудь теперь, когда тела их еще не успели быть обмыты, убраны и зарыты в землю, и о которых через месяц точно так же забудут отцы, матери, жены, дети, ежели они были или не забыли про них прежде.

– А я его не узнал было, старика-то, – говорит солдат на уборке тел, за плечи поднимая перебитый в груди труп с огромной раздувшейся головой, почернелым глянцевитым лицом и вывернутыми зрачками, – под спину берись, Морозка, а то как бы не перервался. Ишь, дух скверный!

«Ишь, дух скверный!» – вот и все, что осталось между людьми от этого человека...

Глава XVI

На нашем бастионе и на французской траншее выставлены белые флаги, и между ними в цветущей долине кучками лежат без сапог, в серых и в синих одеждах изуродованные трупы, которые сносят рабочие и накладывают на повозки. Запах мертвого тела наполняет воздух. Из Севастополя и из французского лагеря толпы народа высыпали смотреть на это зрелище и с жадным и благосклонным любопытством стремятся одни к другим.

Послушайте, что говорят между собой эти люди.

Вот в кружке собравшихся около него русских и французов молоденький офицер, хотя и плохо, но достаточно хорошо, чтоб его понимали, говорящий по-французски, рассматривает гвардейскую сумку.

– Э сеси пуркуа се уазо лие? – говорит он.

– Parce que c'est une giberne d'un régiment de la garde, monsieur, qui porte l'aigle impérial.

– Э ву де ла гард?

– Pardon, monsieur, du sixième de ligne.

⁵¹ Если бы еще полчаса было темно, ложементы были бы вторично взяты (франц.).(франц.).

⁵² Я не говорю нет, только чтобы вам не противоречить (франц.).

⁵³ Какого вы полка? (франц.)

⁵⁴ Он идет смотреть наши работы, этот проклятый... (франц.)

– Э сеси у аште?⁵⁵ – спрашивает офицер, указывая на деревянную желтую сигарочницу, в которой француз курит папиросу.

– A Balaclave, monsieur! C'est tout simple – en bois de palme⁵⁶.

– Жоли! – говорит офицер, руководимый в разговоре не столько собственным произволом, сколько словами, которые он знает.

– Si vous voulez bien garder cela comme souvenir de cette rencontre, vous m'obligerez⁵⁷.

И учтивый француз выдувает папироску и подает офицеру сигарочницу с маленьким поклоном. Офицер дает ему свою, и все присутствующие в группе, как французы, так и русские, кажутся очень довольными и улыбаются.

– Потому что эта сумка гвардейского полка; у него императорский орел.

– Вы из гвардии?

– Нет, извините, сударь, из шестого линейного.

– Это где купили? (*франц.*)

Вот пехотный бойкий солдат, в розовой рубашке и шинели внакидку, в сопровождении других солдат, которые, руки за спину, с веселыми, любопытными лицами стоят за ним, подошел к французу и попросил у него огня закурить трубку. Француз разжигает, расковыривает трубку и высыпает огня русскому.

– Табак *бун*, – говорит солдат в розовой рубашке, и зрители улыбаются.

– Oui, bon tabac, tabac turc, – говорит француз, – et chez vous tabac russe? bon?⁵⁸

– Рус бун, – говорит солдат в розовой рубашке, причем присутствующие покатываются со смеху. – *Франсе нет бун, бонжур, мусье*, – говорит солдат в розовой рубашке, сразу уж выпуская весь свой заряд знаний языка, треплет француз по животу и смеется. Французы тоже смеются.

– Ils ne sont pas jolis ces bêtes de russes⁵⁹, – говорит один зуав из толпы французов.

– De quoi de ce qu'ils rient donc?⁶⁰ – говорит другой, черный, с итальянским выговором, подходя к нашим.

– Кафтан бун, – говорит бойкий солдат, рассматривая шитые полы зуава, и опять смеются.

– Ne sortez pas de la ligne, a` vos places, sacré nom...⁶¹ – кричит французский капрал, и солдаты с видимым неудовольствием расходятся.

А вот в кружке французских офицеров наш молодой кавалерийский офицер так и рассыпается французским парикмахерским жаргоном. Речь идет о каком-то comte Sazonoff, que j'ai beaucoup connu, monsieur⁶², – говорит французский офицер с одним эполетом, – c'est un de ces vrais comtes russes, comme nous les aimons⁶³.

– Il y a un Sazonoff que j'ai connu, – говорит кавалерист, – mais il n'est pas comte, a moins que je sache, un petit brun de votre âge a peu pres.

– C'est fa, monsieur, c'est lui. Oh, que je voudrais le voir ce cher comte. Si vous le voyez, je vous pris bien de lui faire mes compliments. Capitaine Latour⁶⁴, – говорит он, кланяясь.

⁵⁵ – Почему эта птица здесь?

⁵⁶ В Балаклаве. Это пустяк – из пальмового дерева (*франц.*).

⁵⁷ Вы меня обяжете, если оставите себе эту вещь на память о нашей встрече (*франц.*).

⁵⁸ Да, хороший табак, турецкий табак, – а у вас русский табак? хороший? (*франц.*)

⁵⁹ Они некрасивы, эти русские скоты (*франц.*).

⁶⁰ Чего это они смеются? (*франц.*)

⁶¹ Не выходите за линию, по местам, черт возьми... (*франц.*)

⁶² графе Сазонове, которого я хорошо знал, сударь (*франц.*).

⁶³ это один из настоящих русских графов, из тех, которых мы любим (*франц.*).

⁶⁴ – Я знал одного Сазонова, – говорит кавалерист, – но он, насколько я знаю, не граф, небольшого роста, брюнет, приблизительно вашего возраста. – Это так, это он. О, как я хотел бы встретить этого милого графа. Если вы его увидите, очень

– N'est ce pas terrible la triste besogne, que nous faisons? Ça chauffait cette nuit, n'est-ce pas?⁶⁵
– говорит кавалерист, желая поддержать разговор и указывая на трупы.

– Oh, monsieur, c'est affreux! Mais quels gaillards vos soldats, quels gaillards! C'est un plaisir que de se battre contre des gaillards comme eux.

– Il faut avouer que les vâtres ne se mouchent pas du pied non plus⁶⁶, – говорит кавалерист, кланяясь и воображая, что он очень мил. Но довольно.

Посмотрите лучше на этого десятилетнего мальчишку, который в старом, должно быть, отцовском картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых одною помочью, с самого начала перемирия вышел за вал и все ходил по ложине, с тупым любопытством глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один страшный, безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь к крепости.

Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена смрадными телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди – христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, с раскаянием не упадут вдруг на колени перед Тем, Кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, как братья? – Белые флаги спрятаны, и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятия.

Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.

Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.

Ни Калугин с своей блестящей храбростью – *bravoure de gentilhomme*⁶⁷ – и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший *на брани за веру, престол и отечество*, ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест, ребенок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ни героями повести.

Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда.

прошу передать ему мой привет. Капитан Латур (*франц.*).

⁶⁵ Не ужасно ли это печальное дело, которым мы занимались? Жарко было прошлой ночью, не правда ли? (*франц.*)

⁶⁶ – О! это ужасно! Но какие молодцы ваши солдаты, какие молодцы! Это удовольствие – драться с такими молодцами! – Надо признаться, что и ваши не ногой сморкаются (*франц.*).

⁶⁷ храбростью дворянина (*франц.*).

Севастополь в августе 1855 года

Глава I

В конце августа по большой ущелистой севастопольской дороге, между Дуванкой⁶⁸ и Бахчисараем, шагом, в густой и жаркой пыли, ехала офицерская тележка (та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жидовской бричкой, русской повозкой и корзинкой).

В повозке, спереди, на корточках сидел денщик в нанковом сюртуке и сделавшейся совершенно мягкой бывшей офицерской фуражке, подергивавший вожжами; сзади, на узлах и вьюках, покрытых солдатской шинелью, сидел пехотный офицер в летней шинели. Офицер был, сколько можно было заключить о нем в сидячем положении, невысок ростом, но чрезвычайно широк, и не столько от плеча до плеча, сколько от груди до спины; он был широк и плотен, шея и затылок были у него очень развиты и напряжены. Так называемой талии – перехвата в середине туловища – у него не было, но и живота тоже не было, напротив, он был скорее худ, особенно в лице, покрытом нездоровым желтоватым загаром. Лицо его было бы красиво, если бы не какая-то одутловатость и мягкие, нестарческие, крупные морщины, сливавшие и увеличивавшие черты и дававшие всему лицу общее выражение несвежести и грубости. Глаза у него были небольшие, карие, чрезвычайно бойкие, даже наглые; усы очень густые, но не широкие, и обкусанные; а подбородок и особенно скулы покрыты были чрезвычайно крепкою, частою и черною двухдневною бородой. Офицер был ранен 10 мая осколком в голову, на которой еще до сих пор он носил повязку, и теперь, чувствуя себя уже с неделю совершенно здоровым, из симферопольского госпиталя ехал к полку, который стоял где-то там, откуда слышались выстрелы, – но в самом ли Севастополе, на Северной или на Инкермане, он еще ни от кого не мог узнать хорошенько. Выстрелы уже слышались, особенно иногда, когда не мешали горы или доносил ветер, чрезвычайно ясно, часто и, казалось, близко: то как будто взрыв потрясал воздух и невольно заставлял вздрагивать, то быстро друг за другом следовали менее сильные звуки, как барабанная дробь, перебиваемая иногда поразительным гулом, то все сливалось в какой-то перекатывающийся треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре и только что полил ливень. Все говорили, да и слышно было, что бомбардирование идет ужасное. Офицер погонял денщика: ему, казалось, хотелось как можно скорей приехать. Навстречу шел большой обоз русских мужиков, привозивших провиант в Севастополь, и теперь шедший оттуда, наполненный больными и ранеными солдатами в серых шинелях, матросами в черных пальто, греческими волонтерами в красных фесках и ополченцами с бородами. Офицерская повозка должна была остановиться в густом, неподвижном облаке пыли, поднятом обозом, и офицер, щурясь и морщась от пыли, набивавшейся ему в глаза и уши и липнувшей на потное лицо, с озлобленным равнодушием смотрел на лица больных и раненых, двигавшихся мимо него.

– А это с нашей роты солдатик слабый, – сказал денщик, оборачиваясь к барину и указывая на повозку, наполненную ранеными, в это время поравнявшуюся с ними.

На повозке, спереди, сидел боком русский бородач в поярковой шляпе и, локтем придерживая кнутовище, связывал кнут. За ним в телеге тряслись человек пять солдат в различных положениях. Один, с подвязанной какой-то веревочкой рукой, с шинелью внакидку на весьма грязной рубахе, хотя худой и бледный, сидел бодро в середине телеги и взялся было за шапку, увидав офицера, но потом, вспомнив, верно, что он раненый, сделал вид, что он только хотел

⁶⁸ Последняя станция к Севастополю (прим. Л.Н. Толстого).

почесать голову. Другой, рядом с ним, лежал на самом дне повозки; видны были только две руки, которыми он держался за грядки повозки, и поднятые колени, как мочала мотавшиеся в разные стороны. Третий, с опухшим лицом и обвязанной головой, на которой сверху торчала солдатская шапка, сидел сбоку, спустив ноги к колесу, и, облокотясь руками на колени, дремал, казалось. К нему-то и обратился проезжий офицер.

– Должников! – крикнул он.

– Я-о, – отвечал солдат, открывая глаза и снимая фуражку, таким густым и отрывистым басом, как будто человек двадцать солдат крикнули вместе.

– Когда ты ранен, братец?

Оловянные, заплывшие глаза солдата оживились: он, видимо, узнал своего офицера.

– Здравия желаем, вашбородие! – тем же отрывистым басом крикнул он.

– Где нынче полк стоит?

– В Севастополе стояли; в середу переходить хотели, вашбородие!

– Куда?

– Неизвестно... должно, на Сиверную, вашбородие! Нынче, вашбородие, – прибавил он протяжным голосом и надевая шапку, – уже скрость палить стал, все больше с бомбов, ажно в бухту доносит; нынче так бьет, что бяда-ажно...

Дальше нельзя было слышать, что говорил солдат, но по выражению его лица и позы видно было, что он, с некоторой злобой страдающего человека, говорил вещи неутешительные.

Проезжий офицер, поручик Козельцов, был офицер недюжинный. Он был не из тех, которые живут так-то и делают то-то, а не делают того-то потому, что так живут и делают другие: он делал все, что ему хотелось, а другие уже делали то же самое и были уверены, что это хорошо. Его натура была довольно богата мелкими дарами: он хорошо пел, играл на гитаре, говорил очень бойко и писал весьма легко, особенно казенные бумаги, на которые набил руку в свою бытность полковым адъютантом; но более всего замечательна была его натура самолюбивою энергией, которая, хотя и была более всего основана на этой мелкой даровитости, была сама по себе черта резкая и поразительная. У него было одно из тех самолюбий, которое до такой степени слилось с жизнью и которое чаще всего развивается в одних мужских, и особенно военных кружках, что он не понимал другого выбора, как первенствовать или уничтожаться, и что самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений: он сам с собой любил первенствовать над людьми, с которыми себя сравнивал.

– Как же! Очень буду слушать, что Москва⁶⁹ болтает! – пробормотал поручик, ощущая какую-то тяжесть апатии на сердце и туманность мыслей, оставленных в нем видом транспорта раненых и словами солдата, значение которых невольно усиливалось и подтверждалось звуками бомбардирования. – *Смешная эта Москва...* Пошел, Николаев! Трогай же... Что ты заснул! – прибавил он несколько ворчливо на денщика, поправляя полы шинели.

Вожжи задергались, Николаев зачмокал, и повозка покатила рысью.

– Только покормим минутку и сейчас, нынче вечером, дальше, – сказал офицер.

Глава II

Уже въезжая в улицу разваленных остатков каменных стен татарских домов Дуванки, поручик Козельцов снова был задержан транспортом бомб и ядер, шедших в Севастополь и столпившихся на дороге.

Два пехотных солдата сидели в самой пыли на камнях разваленного забора, около дороги, и ели арбуз с хлебом.

⁶⁹ Во многих армейских полках офицеры полупрезрительно, полуласкательно называют солдата *Москва* или еще *присяга* (прим. Л.Н. Толстого).

– Далече идете, землячок? – сказал один из них, пережевывая хлеб, солдату, который с небольшим мешком за плечами остановился около них.

– В роту идем из губернии, – отвечал солдат, глядя в сторону от арбуза и поправляя мешок за спиной. – Мы вот, почитай что третью неделю при сене ротном находились, а теперь, вишь, потребовали всех; да неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывают, что на Корабельную заступили наши в прошлой неделе. Вы не слышали, господа?

– В городе, брат, стоит, в городе, – проговорил другой, старый фурштатский солдат, с наслаждением копавший складным ножом в неспелом, белесом арбузе. – Мы вот только с полден оттеле идем. Такая страсть, братец ты мой, *что и не ходи лучше, а здесь упади где-нибудь в сене, денек-другой пролежи, дело-то лучше будет.*

– А что так, господа?

– Рази не слышишь, нынче кругом палит, аж и места целого нет. Что нашего брата перебил, и сказать нельзя! И говоривший махнул рукой и поправил шапку.

Прохожий солдат задумчиво покачал головой, почмокал языком, потом достал из голенища трубочку, не накладывая расковырял прижженный табак, зажег кусочек трута у курившего солдата и приподнял шапочку.

– Никто, как Бог, господа! Прощенья просим! – сказал он и, встряхнув за спиною мешок, пошел по дороге.

– Эх, обождал бы лучше! – сказал убедительно-протяжно ковырявший арбуз.

– Все одно! – пробормотал прохожий, пролезая между колес столпившихся повозок. – Видно, тоже харбуза купить повечерять; вишь, что говорят люди.

Глава III

Станция была полна народом, когда Козельцов подъехал к ней. Первое лицо, встретившееся ему еще на крыльце, был худощавый, очень молодой человек, смотритель, который продолжал перебраниваться с следовавшими за ним двумя офицерами.

– И не то, что трое суток, и десятеро суток подождете! И генералы ждут, батюшка! – говорил смотритель с желанием кольнуть проезжающих. – А я вам не запрягусь же.

– Так никому не давать лошадей, коли нету!.. А зачем дал какому-то лакею с вещами? – кричал старший из двух офицеров, с стаканом чаю в руках и, видимо, избегая местоимения, но давая чувствовать, что очень легко и *ты* сказать смотрителю.

– Ведь вы сами рассудите, господин смотритель, – говорил с запинками другой, молоденький офицер, – нам не для своего удовольствия нужно ехать. Ведь мы тоже, стало быть, нужны, коли нас требовали. А то я, право, генералу непременно это скажу. А то ведь это что ж... вы, значит, не уважаете офицерского звания.

– Вы всегда испортите! – перебил его с досадой старший. – Вы только мешаете мне; надо уметь с ними говорить. Вот он и потерял уваженье. Лошадей сию минуту, я говорю!

– И рад бы, батюшка, да где их взять-то?

Смотритель помолчал немного и вдруг разгорячился и, размахивая руками, начал говорить:

– Я, батюшка, сам понимаю и все знаю; да что станете делать! Вот дайте мне только (на лицах офицеров выразилась надежда)... дайте только до конца месяца дожить – и меня здесь не будет. Лучше на Малахов курган пойду, чем здесь оставаться. Ей-богу! Пусть делают как хотят, когда такие распоряжения: на всей станции теперь ни одной повозки крепкой нет, и клочка сена уж третий день лошади не видали.

И смотритель скрылся в воротах.

Козельцов вместе с офицерами вошел в комнату.

– Что ж, – совершенно спокойно сказал старший офицер младшему, хотя за секунду перед этим он казался разъяренным. – Уж три месяца едем, подождем еще. Не беда – успеем.

Дымная, грязная комната была так полна офицерами и чемоданами, что Козельцов едва нашел место на окне, где и присел; вглядываясь в лица и вслушиваясь в разговоры, он начал делать папироску. Направо от двери, около кривого сального стола, на котором стояло два самовара с позеленелой кое-где медью и разложен был сахар в разных бумагах, сидела главная группа: молодой безусый офицер в новом стеганом архалуке, наверное, сделанном из женского капота, наливал чайник; человека четыре таких же молоденьких офицеров находились в разных углах комнаты: один из них, подложив под голову какую-то шубу, спал на диване; другой, стоя у стола, резал жареную баранину безрукому офицеру, сидевшему у стола. Два офицера, один в адъютантской шинели, другой в пехотной, но тонкой, и с сумкой через плечо, сидели около лежанки; и по одному тому, как они смотрели на других и как тот, который был с сумкой, курил сигару, видно было, что они не фронтовые пехотные офицеры и что они довольны этим. Не то чтобы видно было презрение в их манере, но какое-то самодовольное спокойствие, основанное частью на деньгах, частью на близких сношениях с генералами, – сознание превосходства, доходящее даже до желания скрыть его. Еще молодой губастый доктор и артиллерист с немецкой физиономией сидели почти на ногах молодого офицера, спящего на диване, и считали деньги. Человека четыре денщиков – одни дремали, другие возились с чемоданами и узлами около двери. Козельцов между всеми лицами не нашел ни одного знакомого; но он с любопытством стал вслушиваться в разговоры. Молодые офицеры, которые, как он тотчас же по одному виду решил, только что ехали из корпуса, понравились ему и, главное, напомнили, что брат его, тоже из корпуса, на днях должен был прибыть в одну из батарей Севастополя. В офицере же с сумкой, которого лицо он видел где-то, ему все казалось противно и нагло. Он даже с мыслью: «Осадить его, если б он вздумал что-нибудь сказать», – перешел от окна к лежанке и сел на нее. Козельцов вообще, как истый фронтовой и хороший офицер, не только не любил, но был возмущен против штабных, за которых он с первого взгляда признал этих двух офицеров.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.